Джакомо Джироламо Казанова История моей жизни - Том I

Джакомо Джироламо Казанова

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Великий венецианский авантюрист и соблазнитель **Джакомо Казанова (1725—1798)** — один из интереснейших людей своей эпохи. Любовь была для него жизненной потребностью. Но на страницах «Истории моей жизни» Казанова предстает не только как пламенный любовник, преодолевающий любые препятствия на пути к своей цели, но и как тонкий и умный наблюдатель, с поразительной точностью рисующий портреты великих людей, а также быт и нравы своего времени. Именно поэтому его мемуары пользовались бешеной популярностью.

- История моей жизни
  - ЭПОХА ВЕЛИКИХ АВАНТЮРИСТОВ
  - I
  - II
  - III
  - РЫЦАРЬ ФОРТУНЫ
- ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ
  - ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
  - МОИ ПРЕДКИ И МОЯ СЕМЬЯ
  - ГОДЫ ДЕТСТВА В ПАДУЕ
  - ВЕНЕЦИЯ
  - ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КАЛАБРИИ
  - ИЗ НЕАПОЛЯ В РИМ
  - СМЕШНАЯ ВСТРЕЧА В ОРСАРЕ.
  - ЖИЗНЬ В ВЕНЕЦИИ
  - Я ВХОЖУ В ДОМ СЕНАТОРА БРАГАДИНО
  - ЖИЗНЬ В ПАРМЕ

История моей жизни
Джакомо Джироламо Казанова

ЭПОХА ВЕЛИКИХ АВАНТЮРИСТОВ

1861 Ф.М.Достоевский пишет, что «личность Казановы — одна из самых замечательных своего века», знакомит русского читателя с «Мемуарами», публикуя отрывки в журнале «Время», который издает его брат. Писатель заявляет в предисловии, что это «занимательное чтение», но «перевести всю книгу невозможно. Она известна некоторыми эксцентричностями, откровенное изложение которых справедливо осуждается принятою в наше время нравственностью».

1887 Сокращенный русский перевод «Мемуаров Казановы» в одном томе под редакцией В.В.Чуйко.

1960 21 апреля фирмой «Брокгауз» в Висбадене и парижским издательством «Плон» начата первая полная публикация оригинального текста «Мемуаров» Казановы.

2009 Полного русского перевода мемуаров Казановы все еще нет, но в издательстве «Захаров» выходит двухтомное издание, содержащее контаминацию (максимально полный свод) всех существующих на русском языке переводов.

«Говорят, старость делает человека мудрым: не понимаю, как можно любить следствие, если причина отвратительна».

I
Героическая эпоха авантюристов

Четверть века отделяет Семилетнюю войну от Французской революции, и все эти 25 лет над Европой стоит душное безветрие. Великие династии Габсбургов, Бурбонов и Гогенцоллернов устали воевать. Бюргеры безмятежно покуривают, пуская дым кольцами, солдаты пудрят свои косы и чистят ненужные уже ружья; измученные народы могут наконец немного передохнуть, но князья скучают без войны. Они скучают смертельно, все эти германские, итальянские и прочие князьки в своих крохотных резиденциях, и им хочется, чтобы их забавляли. Да, ужасно скучно этим беднягам, всем этим мелким в их призрачном величии курфюрстам и герцогам, в их свежеотстроенных, еще сыровато-холодных дворцах в стиле рококо, несмотря на всякие потешные сады, фонтаны и оранжереи, зверинцы, парки с дичью, галереи и кунсткамеры. На выжатые кровью деньги и с проворно разученными у парижских танцмейстеров манерами они, как обезьяны, подражают Трианону и Версалю и играют в «большую резиденцию» и «короля-солнце». От скуки они становятся даже покровителями искусств и интеллектуальными гурманами, переписываются с Вольтером и Дидро, собирают китайский фарфор, средневековые монеты и барочные картины, заказывают французские комедии, зазывают итальянских певцов и танцоров — и только властелину Веймара удается пригласить к своему двору нескольких немцев — Шиллера, Гете и Гердера. В общем же, кабаньи травли и пантомимы на воде сменяются театральными дивертисментами — ибо всегда в те моменты, когда земля чувствует усталость, особую важность приобретает мир игры — театр, мода и танец.

Князья стараются перещеголять друг друга в денежных тратах и дипломатических ухищрениях, чтобы отбить друг у друга наиболее интересных затейников, наилучших танцоров, музыкантов, певцов-органистов. Они переманивают друг у друга Глюка и Генделя, Метастазио и Гассе, так же как каббалистов и кокоток, фейерверкеров и охотников на кабанов, либреттистов и балетмейстеров. Ибо каждый из этих князьков хочет иметь при своем маленьком дворе самое новое, самое лучшее и самое модное — в сущности, скорее назло мелкопоместному соседу, чем себе на пользу. И вот у них — церемониймейстеры и церемонии, каменные театры и оперные залы, сцены и балеты. Недостает лишь еще одного, чтобы разогнать скуку захолустного города и

придать настоящий светский вид безнадежно приевшимся физиономиям неизменных шестидесяти дворян: не хватает знатных визитеров, интересных гостей, космополитических иностранцев — живой газеты, — словом, нескольких изюминок в квашеном тесте, маленького ветерка из большого света — в душном воздухе уместившейся на тридцати уличках резиденции.

И лишь только об этом распространится молва — глядь, из невесть каких уголков и укромных местечек уже катят всякие искатели приключений под сотнями личин и одеяний, ночь спустя они подкатывают в почтовых экипажах и английских колясках и широким жестом снимают самую элегантную анфиладу комнат в самой лучшей гостинице. На них фантастические мундиры каких-нибудь индостанских или монгольских армий, и они носят громкие фамилии, которые на деле являются такой же имитацией, как и фальшивые камни на пряжках их туфель. Они говорят на всех языках, твердят о своем знакомстве со всеми властителями и выдающимися людьми, они будто бы служили во всех армиях и учились во всех университетах. Их карманы наполнены проектами, речь изобилует смелыми обещаниями; они замышляют лотереи и дивертисменты, государственные союзы и фабрики, они предлагают женщин, кастратов и ордена, и хотя сами они не имеют в кармане и десяти золотых монет, они всем и всякому шепчут на ухо, что обладают тайной алхимиков. При каждом дворе они изощряются в новых художествах: тут они выступают под таинственным покрывалом франкмасонов и розенкрейцеров*, там, у сребролюбивого владетеля, разыгрывают знатоков химической кухни и трудов Парацельса. Сластолюбивому они предлагают свои услуги в качестве сводников и поставщиков с изысканным подбором товара, к любителю войн являются в качестве шпионов, к покровителям наук и искусств — в качестве философов и рифмоплетов. Суеверных они ловят гороскопами, легковерных — проектами, игроков — краплеными картами, а наивных — великосветской элегантностью. Но все это неизменно окутывается непроницаемо-шумящей оболочкой странности и тайны, непостижимой и тем самым вдвойне занимательной. Как блуждающие огоньки, внезапно вспыхивающие и манящие в трясину, мерцают они и поблескивают то тут, то там в неподвижном и затхлом воздухе резиденций, появляясь и исчезая в призрачной пляске обмана.

При дворах их принимают, забавляются ими, не уважая их и столь же мало интересуясь подлинностью их дворянства, как обручальными кольцами их жен и девственностью сопровождающих их девиц. Ибо в этой аморальной, отравленной

упадочной философией атмосфере приветствуют без дальнейших расспросов всякого, кто приносит развлечение или хотя бы на час смягчает скуку, эту страшную болезнь властителей. Их охотно терпят наравне с девками, пока они забавляют и пока обирают не слишком нагло. Иногда эта свора артистов и мошенников получает сиятельный пинок ногой в зад, иногда они выкатываются из бального зала в тюрьму или даже на галеры, подобно директору венских театров Джузеппе Аффлизио. Некоторые, правда, присасываются крепко, становятся сборщиками податей, любовниками куртизанок или даже, в качестве услужливых супругов придворных блудниц, настоящими дворянами и баронами. Обычно они не ждут, чтобы запахло скандалом, ибо все их обаяние основано лишь на новизне и таинственности: когда их шулерство становится слишком наглым, когда они слишком глубоко залезают в чужие карманы, когда слишком надолго устраиваются по-домашнему при каком-либо дворе, вдруг может явиться кто-нибудь, кто поднимет их мантию и явит миру клеймо вора или рубцы каторжника.

Для их сомнительных делишек полезна частая перемена воздуха, и поэтому они непрестанно разъезжают по Европе, эти искатели счастья, эти коммивояжеры темного ремесла, эти цыгане, странствующие от двора к двору, от ярмарки к ярмарке.

И так на протяжении XVIII столетия вертится все одна и та же карусель мошенников, с одними и теми же фигурами — от Мадрида до Петербурга, от Амстердама до Пресбурга, от Парижа до Неаполя. Пытаются говорить о случайности, когда Казанова встречает за каждым игорным столом, при каждом дворе все тех же мошенников-собратьев — Тальви, Аффлизио, Шверина, Сен-Жермена, но для посвященных его непрестанное странствование означает скорее убегание, нежели развлечение. И все они вместе составляют сплоченную родню, единый орден авантюристов, единую масонскую общину без лопатки и прочих символов. Всюду, где только они встречаются, один тянет другого, предлагает себя в партнеры за игорным столом при обирании глупцов, один проталкивает другого в знатное общество и, признавая его, удостоверяет свою собственную личность. Они меняют женщин, платье, имена — все, за исключением одного: профессии. Все эти актеры, танцоры, музыканты, искатели счастья, блудницы и алхимики, попрошайничающие по дворам, являются, совместно с иезуитами и евреями, единственно интернациональным элементом в мире. Стоя между оседлым узколобым мелкобуржуазным столбовым дворянством и еще не свободным тупым бюргерством, не принадлежа ни к тому, ни к другому лагерю, члены этого ордена легко и ловко шмыгают

между ними, блуждают по странам и классам, двусмысленные и непостижимые, мародеры без флага и отечества, потомки флибустьеров и конквистадоров. Ими начинается новая эпоха, новое искусство заработка: они уже не обирают беззащитных и не грабят на большой дороге почтовые экипажи, а надувают тщеславных и облегчают кошельки легкомысленных. Вместо физической смелости у них в избытке присутствие духа, вместо свирепого неистовства — ледяная наглость, вместо грубого разбойничьего кулака — тонкая игра на нервах и психологии. Этот новый вид плутовства заключил союз с космополитизмом и изысканными манерами, он отказался от старого способа грабежа при помощи кинжала и поджога, заменив его краплеными картами и магическими зельями, галантной улыбкой и дутыми векселями. Это еще все та же отважная порода, которая на парусах отправлялась в Новую Индию и мародерствовала во всех армиях, которая не хочет влачить жизнь на буржуазный, преданно-лакейский лад, а предпочитает наполнять карманы одним махом, пренебрегая всеми опасностями.

Только стал более утонченным метод, а с ним — и облик. На смену неуклюжим кулакам, пропитым рожам, неотесанным манерам старых вояк пришли руки в перстнях и напудренные парики над беспечным челом. Они крутят пируэты, словно танцоры, изъясняются как актеры и пускают пыль в глаза, как болтуны-философы; смело отвратив неспокойный взор, они манипулируют за игорным столом и в остроумной беседе одаривают женщин любовными напитками и поддельными алмазами.

Надо признать, что в каждом из них есть нечто одухотворенное, что делает их привлекательными, а некоторых можно смело назвать гениальными. Вторая половина XVIII столетия является их героической эпохой, их золотым веком, их классическим периодом. Подобно тому как раньше, при Людовике XV, французские поэты объединились в блестящую плеяду, а позднее, в Германии, чудесное мгновение Веймара воплотило творческие стремления гения в бессмертные фигуры, так и тогда над всей эпохой победоносно сияет яркое семизвездие славных аферистов и бессмертных искателей приключений.

Вскоре они уже не удовлетворяются запусканием рук в княжеские карманы — они нагло и величаво начинают крутить исполинскую рулетку мировой истории. Вместо того чтобы, согнув спину, лакействовать, они, гордо подняв голову, вмешиваются в дела двора и управления.

И особенно характерным персонажем для второй половины XVIII века является приблудный ирландец, ставший генеральным

контролером финансов, Джон Лоу, который своими необеспеченными ассигнациями стирает в порошок французские финансы. Шевалье Д'Эон, гермафродит, человек сомнительного происхождения и сомнительной славы, став тайным агентом Людовика XV, руководит международной политикой. Маленький круглоголовый барон Нейгоф становится настоящим королем Корсики под именем Теодора I, хотя и оканчивает затем свою карьеру в тюрьме из-за долгов. Калиостро, деревенский парень из Сицилии, за всю жизнь так и не научившийся толком грамоте, видит у своих ног весь Париж и сплетает из пресловутого ожерелья Марии-Антуанетты петлю французской монархии. Старик Тренк, прусский офицер, заточенный в крепость по обвинению в связи с сестрой Фридриха II принцессой Амалией и напоровшийся в конце концов на гильотину, как истый трагик разыгрывает в красной шапке героя свободы. Сен-Жермен, этот маг, алхимик и оккультист без возраста, покоряет Людовика XV и до сих пор продолжает морочить усердных ученых неразгаданной тайной своего рождения. Все они обладают б?льшим могуществом, нежели наиболее именитые властелины, ослепляют ученых, обольщают женщин, грабят богачей и, не имея должности и не зная ответственности, тайно дергают ниточки политических марионеток.

Последний, однако не худший из них — Джакомо Казанова, историограф этого цеха, который рисует их всех занимательнейшим образом, рассказывая о самом себе в сотнях подвигов и авантюр, — завершает эту семерку незабываемых и незабытых, кратковременных властителей уже обреченного на гибель мира. Ибо всего только тридцать или сорок лет длится в Европе героическая эпоха этих гениев наглости и мистического актерства, а затем она изживает себя через наиболее законченный свой тип, наиболее совершенный свой идеал — поистине демонического авантюриста. Ибо Наполеон действует всерьез там, где эти мелкие шарлатаны только играли, он величавым жестом захватывает то, чем они только лакомились и к чему лишь притрагивались. В его лице авантюризм проникает из княжеских передних в тронный зал; он завершает восхождение преступного к вершине власти: авантюризм на короткий час мировой истории надевает себе на голову корону Европы.

II
Молодой шевалье де Сенгальт

В парке замка Сан-Суси, в 1764 году,

Фридрих Великий, вдруг останавливаясь и разглядывая Казанову:

— Знаете ли, вы очень красивый человек!

Театр в небольшом столичном городе. Певица только что закончила свою арию блестящей колоратурой, зал разразился аплодисментами, и теперь, во время начавшихся речитативов, напряженное внимание ослабевает. Франты навещают ложи, дамы рассматривают друг друга в лорнеты и серебряными ложечками лакомятся апельсиновым шербетом и желе; им нет ровно никакого дела до гротесков Арлекина и пируэтов Коломбины.

Но вдруг все взоры с любопытством устремляются к запоздавшему незнакомцу, который с непринужденностью истинно знатного человека смело и вместе с тем небрежно входит в партер. Атлетическая фигура, пышный и богатый наряд: бархатное платье пепельного цвета раскрывается над изящно вышитым шелковым жилетом и драгоценными кружевами, золотые петлицы оттеняют темные складки от самых пряжек на брюссельском жабо и до шелковых чулок. Под мышкой небрежно зажата нарядная шляпа с белым пером; тонкий, сладкий запах розового масла или новомодной помады исходит от знатного незнакомца, который равнодушно следует через весь партер до первого ряда и беспечно прислоняется там к барьеру: покрытая перстнями рука надменно опирается на усыпанную драгоценными камнями шпагу английской стали. Словно не замечая обращенного на него всеобщего внимания, он поднимает золотой лорнет, чтобы с деланным равнодушием оглядеть ложи.

А тем временем из ряда в ряд по креслам легким шелестом передается любопытство провинциального городка: кто это — князь, богатый иностранец?.. Головы сближаются, почтительное перешептывание сначала касается обрамленного алмазами ордена, который болтается у него на груди на ярко-красной ленте: орден так густо осыпан блестящими камешками, что никто уже не узнает дрянную дешевку — хоть и древний, но бесславный орден Золотой Шпоры. Певцы на сцене сразу чувствуют, что

внимание от них отвлечено, речитативы льются несвязно, а танцовщицы, прошмыгнув из-за кулис, высматривают поверх скрипок и виол, не занесло ли им счастье герцога-толстосума на прибыльную ночь.

Но прежде чем все эти сотни людей в зале успевают разгадать загадку незнакомца и определить его происхождение, женщины в ложах смущенно замечают нечто другое: необычайную красоту этого неизвестного мужчины, красоту и поразительную мужественность. Его рослая фигура и квадратные плечи дышат мощью, мускулистые руки цепки, во всем напряженном, стальном мужском теле — ни одной изнеженной линии, так стоит он перед ними, слегка наклонив голову, словно готовый ринуться в бой бык. Профиль его напоминает изображение на римской монете, настолько резко и чеканно выделяется каждая черта на темной меди этой головы. Из-под каштановых, любовно завитых и причесанных волос прекрасной линией вырисовывается лоб, которому мог бы позавидовать любой поэт, нос изгибается дерзким, смелым крючком, под крепкой костью подбородка выпукло поднимается кадык в два ореха величиной: положительно, каждая черта этого лица дышит напором и победной решимостью. И только губы, очень алые и чувственные, изгибаются, мягкие и влажные, как мякоть граната, открывая белые ядра зубов.

Теперь красавец медленно обращает профиль к темному зрительному залу, под ровными, округлыми, густыми бровями нетерпеливо и беспокойно сверкают черные глаза, быстро перескакивая от одной точки к другой. Так настоящий охотник высматривает добычу, готовый одним прыжком броситься на намеченную жертву. Но пока — взор этот только мерцает, он не загорелся еще ярким пламенем, а лишь медленно ощупывает ряды лож и, минуя мужчин, оглядывает, как товар на продажу, женщин. Незнакомец рассматривает их одну за другой, выбирая, как знаток, и чувствуя, что и они рассматривают его; при этом слегка приоткрываются сластолюбивые губы южанина, и зарождающаяся улыбка этого сочного рта теперь впервые обнаруживает белоснежную, сытую, чувственную челюсть. Пока эта улыбка еще не имеет в виду какую-либо одну женщину, пока она еще обращена ко всем — к женщине как таковой. Но вот он приметил в одной из лож знакомую даму: его взор сразу становится сосредоточенным, в глазах, которые только что глядели нагло-вопрошающе, вспыхивает бархатный и вместе с тем искрящийся блеск, левая рука отделяется от шпаги, правая хватает тяжелую шляпу с перьями, и так он подходит к ней, с едва уловимым приветствием на устах. Мускулистая шея

грациозно изгибается над протянутой для поцелуя рукой, он тихо говорит ей что-то. И по смятению и смущению дамы сразу заметно, как нежно и томно звучит этот певучий голос; затем она оборачивается и представляет незнакомца своим спутникам: «Шевалье де Сенгальт». Поклоны, церемонность, учтивость, гостю предлагают место в ложе, от которого он скромно отказывается; обмен любезностями переходит, наконец, в беседу.

Постепенно Казанова возвышает голос, направляя слова через головы окружающих. Он с актерским мастерством придает гласным мягкую певучесть, а согласным — ритмическую раскатистость. И все слышнее раздается его голос из рамок ложи, громкий и настойчивый, ибо он хочет, чтобы насторожившиеся соседи слышали, как остроумно и свободно разговаривает он по-французски и по-итальянски, как ловко цитирует Горация... Как бы невзначай кладет он руку в перстнях на барьер ложи таким образом, чтобы издалека можно было видеть дорогие кружевные манжеты и прежде всего блеск громадного бриллианта на пальце. Теперь он предлагает кавалерам мексиканский нюхательный табак из усыпанной алмазами табакерки. «Мой друг, испанский посланник, прислал мне его вчера с курьером», — доносятся его слова в соседнюю ложу, а когда один из кавалеров вежливо восхищается миниатюрой на табакерке, он бросает небрежно, но достаточно громко, чтобы его слова распространились по залу: «Подарок моего друга и милостивого государя, кельнского курфюрста».

Так он болтает, по-видимому совершенно небрежно; однако, рисуясь, хвастун в то же время глазами хищной птицы зорко следит за производимым им впечатлением. Да, все заняты им, он ощущает на себе любопытство женщин, чувствует, что вызвал интерес, изумление и восхищение, и все это придает ему еще больше смелости. Ловким маневром он перебрасывает разговор в соседнюю ложу, где сидит фаворитка герцога и благосклонно — он это чувствует — слушает его прекрасную французскую речь. Рассказывая о какой-то красавице, он рассыпается перед ней в любезностях, которые она принимает с ответной улыбкой. Теперь его друзьям не остается ничего другого, как представить шевалье высокопоставленной даме. И дело уже в шляпе. Завтра днем он будет обедать с городской знатью; завтра вечером он в одном из дворцов предложит устроить маленькую игру в фараон и будет обирать их; завтра ночью он будет спать с одной из этих блестящих, разодетых женщин — и все это благодаря своей отважной, уверенной и энергичной хватке, своей воле к победе и мужественной, открытой красоте смуглого лица. Именно эти черты дали ему все: улыбки женщин и солитер на пальце,

усыпанную бриллиантами часовую цепочку и золотые петлицы, кредит у банкиров и дружбу дворян, и то, что прекраснее всего: свободу в бесконечном многообразии жизни.

Тем временем примадонна готовится начать новую арию. Казанова, уже приглашенный очарованными им кавалерами и милостиво вызванный к утреннему приему фаворитки, возвращается, после глубокого поклона, на свое место, садится и, опираясь левой рукой на шпагу, склоняет красивую голову, чтобы, как знаток, послушать пение. За его спиной, из ложи в ложу, из уст в уста, шепотом передается: «Шевалье де Сенгальт!» Подробностей о нем не знает никто — ни откуда он пришел, ни чем он занимается, ни куда направляется; но имя его проносится и гудит по всему темному и любопытному залу, забрасывается, танцуя, как невидимое, мелькающее пламя, наверх, на сцену, к охваченным таким же любопытством певицам. И вдруг маленькая венецианская танцовщица заливается смехом: «Шевалье де Сенгальт? Ах, этот обманщик! Да ведь это же Казанова, сын Буранеллы, маленький аббат, который пять лет тому назад ловко украл девственность у моей сестры; придворный шут старика Брагадино, хвастун, забияка и авантюрист!» Но она, по-видимому, не слишком возмущена его проделками, ибо из-за кулис она подмигивает ему, как старому знакомому, и многозначительно подносит кончики пальцев к губам. Он замечает это, узнает ее, улыбается и быстро соображает: она не испортит ему игры со знатными дураками, а предпочтет переспать с ним сегодня ночью.

III
Последние дни старого авантюриста

Все изменилось теперь, увы! —
и я не присутствую, сам я уже не тот и не
думаю, что еще существую: я — был.

Латинская надпись на портрете Казановы в старости

1797–1798 годы. Кровавая метла революции вымела вон галантный век, головы христианнейшего короля и королевы лежат в корзине гильотины, и десять дюжин принцев и князьков совместно с венецианскими инквизиторами прогнаны к черту маленьким корсиканским генералом. Европа читает уже не «Энциклопедию», Вольтера и Руссо, а отрывистые бюллетени с театра военных действий, не слушает больше итальянских арий, а трепещет перед пушками. Великий пост навис над Европой: карнавалам и рококо наступил конец, нет больше кринолинов и напудренных париков, серебряных пряжек на туфлях и брюссельских кружев; никто не носит больше бархатного платья — оно сменилось мундиром и бюргерской одеждой.

Но странно: кто-то забыл о времени. Это какой-то старенький человечек там, на севере, в самом темном закоулке Богемии. Как рыцарь Глюк в легенде Гофмана, как какая-то цветистая птица, старик в бархатном жилете с позолоченными пуговицами, в вылинявшем и пожелтевшем кружевном воротнике, шелковых чулках с узорчатыми подвязками и в парадной шляпе с белым пером, среди бела дня спускается тяжелой поступью из замка Дукс по неровной булыжной мостовой в город. По старому обычаю смешной старик еще носит косу, хотя она и напудрена плохо (нет больше лакеев!), а дрожащая рука важно опирается на старомодную трость с золотым набалдашником, какие носили при королевском дворе летом 1730 года... Да, это Казанова, или, вернее, его мумия, он все еще жив, этот старый авантюрист, несмотря на нужду, заботы и сифилис. Кожа стала пергаментной, крючковатый нос выступает над дрожащим, слюнявым ртом, как птичий клюв, густые брови поседели и стали щетинистыми; все это дышит уже затхлым запахом старости и тления, высыханием в желчи и книжной пыли. В одних только глазах, черных, как

смола, еще живет былое беспокойство, остро и зло выглядывают они из-под полузакрытых век. Но он недолго смотрит по сторонам, а только сердито брюзжит и ворчит про себя, ибо находится в дурном настроении. Да, Казанова никогда уже не бывает в духе с тех пор, как судьба выбросила его на эту богемскую свалку. К чему поднимать глаза — каждый взгляд был бы слишком большой честью для этих глупых ротозеев, этих широконосых немецко-богемских картофельных рож, которые никогда не высовывают носа дальше деревенской грязи и даже не выполняют своего долга: не приветствуют его, шевалье де Сенгальта, который в свое время всадил пулю в живот польскому гофмаршалу и получил из собственных рук папы римского Золотые Шпоры. Но еще досаднее то, что и женщины уже не уважают его больше, а прикрывают руками рот, чтобы сдержать раскаты громкого деревенского хохота. И им есть над чем посмеяться, потому что служанки рассказали попу, что старый греховодник охотно залезает им рукой под юбки и на своем тарабарском языке шепчет в уши всякие глупости. Но все же эта чернь все-таки лучше, чем проклятая лакейская сволочь, на произвол которой он отдан дома, эти «ослы, пинки которых он вынужден переносить», и больше всего — от домоправителя Фельткирхнера и его присного Видерхольта. Канальи! Вчера они опять нарочно пересолили ему суп и сожгли макароны, они вырвали его портрет из рамы и повесили его в отхожем месте, они осмелились, эти негодяи, поколотить маленькую собачку с черными пятнами, Мелампигу, подаренную ему графиней Роггендорф, только за то, что прелестный зверек отправил естественную потребность в комнатах. Ах, куда удалились те золотые времена, когда можно было просто посадить в колодки подобную лакейскую сволочь и переломать ей ребра вместо того, чтобы терпеть подобную наглость! Но нынче из-за этого Робеспьера хамье подняло голову, проклятые якобинцы изгадили всю эпоху, и сам ты уже только старый, бедный беззубый пес. Что толку сетовать, ворчать и брюзжать целый день, лучше всего наплевать на весь этот сброд, подняться наверх, в свою комнату, и читать Горация.

Но сегодня нет места всем этим печальным размышлениям — мумия торопливо бегает по комнатам, как подергиваемая марионетка. Она облеклась в старое придворное платье, прицепила орден и хорошенько почистилась щеткой, чтобы удалить малейшую пылинку. Ибо господин граф дали знать, что приедут сегодня, их милость собственной персоной прибудут из Теплица и привезут с собой принца де Линя и еще несколько благородных господ; за столом они будут беседовать по-

французски, и завистливая лакейская банда, скрежеща зубами, должна будет прислуживать, подавать ему тарелки, сгибаясь в три погибели, а не швырять ему на стол, как вчера, перепорченные и изгаженные объедки, как бросают кость собаке. Да, сегодня, во время обеда, он будет сидеть за большим столом вместе с австрийскими кавалерами, умеющими еще ценить утонченный разговор, и почтительно слушать философа, которого изволил уважать сам Вольтер и которого когда-то удостаивали своего внимания императоры и короли. «А как только дамы удалятся, господин граф и господин принц, вероятно, самолично попросят меня прочесть им что-нибудь из известного манускрипта — да, попросят, господин Фельткирхнер, поганая рожа вы этакая, — высокорожденный господин граф Вальдштейн и господин фельдмаршал принц де Линь будут просить меня, чтобы я опять прочел им отрывок из моих любопытнейших приключений... И я это, может быть, и сделаю — может быть — ибо я ведь не слуга господина графа и не обязан слушаться его, я не принадлежу к лакейскому сброду, я — гость и библиотекарь и стою с ними на равной ноге, — ну да вы ничего этого не понимаете, якобинская сволочь!.. Но парочку анекдотов я все же им расскажу, черт возьми! Парочку анекдотов в восхитительном жанре моего учителя, господина Кребийона, или парочку венецианских — с перцем и солью; ведь мы, дворяне, будем между собой, а мы хорошо разбираемся в оттенках. Они будут смеяться и пить крепкое черноватое бургундское вино, как при дворе Его христианнейшего Величества, будут беседовать о войне, алхимии и книгах, а прежде всего — слушать рассказы старого философа о светских делах и о женщинах».

Возбужденно шмыгает по отпертым залам маленькая, старая, высохшая злая птица, с глазами, сверкающими злобой и отвагой. Вытирает обрамляющие орденский крест стразы (настоящие камни уже давно проданы английскому жиду), тщательно пудрит волосы и упражняется перед зеркалом (с этими невежами забудешь всякие манеры!) в старомодных реверансах и поклонах, какие были приняты при дворе Людовика XV. Правда, спина уже порядочно хрустит: не безнаказанно тряслась старая тачка семьдесят три года во всех почтовых каретах вдоль и поперек Европы, а женщины стоили ему бог знает сколько сил! Но там, наверху, в башке — там, по крайней мере, еще не испарилось остроумие, он еще сумеет позабавить этих господ и придать себе весу в их глазах. Круглым и замысловатым, немного дрожащим почерком переписывает он на чуть шершавом листе дорогой бумаги приветственные стишки на французском языке для принцессы де Рекке и разрисовывает буквы высокопарного

посвящения на своей новой комедии для любительского театра: «Да, даже здесь, в Дуксе, мы еще не разучились держать себя подобающим образом!»

И действительно, когда наконец подкатывают кареты и он, сгорбившись, сходит вниз по крутым ступеням, тяжело ступая своими скрюченными ногами, — господин граф и его гости небрежно бросают слугам шапки, плащи и шубы, но его они обнимают по дворянскому обычаю, представляют незнакомым господам в качестве прославленного шевалье де Сенгальта, превознося его литературные заслуги, и дамы польщены видеть его рядом с собой за столом.

Блюда еще не убраны, трубки еще идут вкруговую, а принц уже справляется — совсем как он предвидел — об успехах беспримерно увлекательной истории его жизни, и кавалеры и дамы в один голос просят его прочесть им главу из этих мемуаров, которые, несомненно, приобретут громкую известность. Как отказать в каком-либо желании любезнейшему графу, его милостивому благодетелю? Господин библиотекарь поспешно взбирается наверх, в свою комнату, и берет из пятнадцати фолиантов тот, в который он уже предусмотрительно вложил шелковую ленту: главный, наиболее выдающийся эпизод — один из немногих, который не должен чуждаться присутствия дам, — рассказ о его бегстве из свинцовых карцеров Венеции. Как часто и кому только не читал уже он эту несравненную авантюру: курфюрстам баварскому и кельнскому, в кругу английских дворян и при варшавском дворе, но пусть они увидят, что Казанова умеет рассказывать иначе, нежели этот скучный пруссак, господин фон Тренк, из-за приключений которого теперь поднимают столько шуму. Ибо он недавно вставил в рассказ несколько новых эффектов — чудесные неожиданные осложнения, — и в конце — великолепную цитату из божественного Данте. Бурные аплодисменты награждают его за чтение, граф обнимает его и при этом левой рукой тайно сует ему в карман сверток дукатов, которые ему, черт возьми, приходятся весьма кстати, ибо если его и забывает весь мир, то кредиторы преследуют его даже и здесь.

Но, увы, на другой день лошади уже нетерпеливо звякают сбруей, кареты ждут у ворот, ибо высокие особы уезжают в Прагу, и хотя господин библиотекарь и делал трижды тонкие намеки на то, что у него в Праге много неотложных дел, его все-таки никто не берет с собой. Он вынужден остаться в огромном, холодном, с гуляющими сквозняками, каменном ящике Дукса, отданный в руки наглого богемского сброда — лакеев, которые, едва только улеглась пыль за колесами господина графа, опять начинают свое

нелепое зубоскальство, растягивая рот до ушей. Всюду одни варвары, нет больше никого, кто умел бы разговаривать по-французски и по-итальянски об Ариосто и Жан-Жаке, невозможно же вечно писать письма этому заносчивому, погрязшему в деловых актах жеребцу — господину Опицу в Часлове, или тем немногим милостивым дамам, которые еще удостаивают его чести переписываться с ними. Затхло и сонно скука, как серый дым, снова ложится над необитаемыми комнатами, и забытый вчера ревматизм с удвоенной свирепостью дергает ноги. Казанова угрюмо снимает придворное платье и надевает на мерзнущие кости толстый турецкий шерстяной халат, угрюмо подползает он к единственному приюту воспоминаний — письменному столу, очиненные перья ждут его рядом с кипой больших белых листов, в ожидании шелестит бумага. И вот он, вздыхая, садится и дрожащей рукой — благодатная, подстегивающая его скука! — продолжает писать историю своей жизни.

Ибо за этим иссохшим лбом, за этой мумифицированной кожей живет, как белое ядро ореха за костяной скорлупой, свежая и цветущая гениальная память. В этом маленьком костном пространстве между лбом и затылком сохранилось еще нетронутым и точным все, чем когда-то алчно завладевали в тысячах авантюр эти сверкающие глаза, эти широко дышащие ноздри, эти жесткие, жадные руки, — и распухшие от ревматизма пальцы, которые водят гусиным пером в течение тринадцати часов в день («тринадцать часов, а они проходят для меня как тринадцать минут!»), еще помнят обо всех атласных женских телах, которые они когда-то с наслаждением ласкали. На столе в пестром беспорядке лежат пожелтевшие письма этих прежних возлюбленных, записки, локоны, счета и сувениры — и как над потухшим пламенем еще серебрится дым, так из поблекших воспоминаний поднимается ввысь невидимое облако нежного благоухания. Каждое объятие, каждый поцелуй... Воистину, «наслаждение — вспоминать свои наслаждения».

Глаза старого ревматика блестят, губы дрожат от увлечения и возбуждения, он шепчет вновь придуманные слова и наполовину воскресшие в памяти диалоги, невольно подражая былым голосам, и сам смеется собственным шуткам. Он забывает еду и питье, бедность и несчастье, унижение и бессилие, все злополучие и всю отвратительность старости, забавляясь в мечтах перед зеркалом своих воспоминаний. По его зову перед ним встают улыбающиеся тени — Анриетта, Бабетта, Тереза, — и эти вызванные им к жизни духи дают ему, может быть, больше наслаждения, чем пережитая когда-то действительность. И так пишет он и пишет, без устали, вновь переживая, с помощью пера

и пальцев, былые авантюры, бродит взад и вперед, декламирует, смеется и не помнит себя больше.

Перед дверью стоят чурбаны-лакеи и перекидываются грубыми шутками. «С кем он забавляется там, в комнате, этот старый французский дурак?» Смеясь, они указывают пальцами на лоб, намекая на его чудачество, с шумом спускаются вниз, на попойку, и оставляют старика одного в его кабинете. Никто на свете не помнит о нем больше — ни близкие, ни дальние. Живет он, старый сердитый ястреб, там, на своей башне в Дуксе, как на вершине ледяной горы, безвестный и забытый, и когда, наконец, на исходе июня 1798 года, разрывается старое дряхлое сердце и жалкое, когда-то пламенно обнимаемое сотнями женщин тело зарывают в землю, для церковной книги остается неизвестной его настоящая фамилия. «Казаней, венецианец», — вносится в нее неправильное имя и «восемьдесят четыре года от роду» — неточный возраст: настолько незнакомым стал он для окружающих. Никто не заботится о его могиле, никому нет дела до его сочинений, забытым тлеет его прах, забытыми тлеют его письма и забытыми странствуют где-то по равнодушным рукам тома его труда.

Как с хрипом внезапно останавливаются запыленные, заржавелые часы с курантами, так в 1798 году остановилась эта жизнь. Но четверть века спустя она заявляет о себе снова.

Мир прислушивается, удивляется, изумляется, вновь охваченный восхищением и возмущением: мемуары Казановы вышли в свет, и с тех пор старый авантюрист живет вновь — всегда и всюду.

Стефан Цвейг

РЫЦАРЬ ФОРТУНЫ

Он был бы отменно хорош собой, если бы не его некрасивость: высок ростом, сложен как Геркулес, но цветом лица напоминает африканца; живые, полные ума глаза, и в то же время неизменное выражение подозрительности, беспокойства и даже злопамятства придает его внешности некоторую жестокость. Склонный легче впадать

в гнев, нежели в веселость, он, тем не менее, легко заставляет смеяться других. Своей манерой говорить он похож на дурашливого Арлекина или Фигаро и поэтому отменно занимателен. Нет такого предмета, в коем он не почитал бы себя знатоком: в правилах танца, французского языка, хорошего вкуса и светского обхождения.

Это истинный кладезь премудрости, но непрестанное повторение цитат из Горация изрядно утомляет. Склад его ума и его остроты проникнуты утонченностью; у него чувствительное и способное к благодарности сердце, но стоит хоть чем-нибудь не угодить ему, он сразу делается злым, сварливым и уже совершенно несносным. Даже за миллион он никогда не простит самую пустячную шутку на свой счет.

Слог его пространностью и многоречивостью напоминает старинные предисловия. Но когда ему есть о чем рассказать, например про случавшиеся с ним перипетии, он выказывает столько самобытности, непосредственности и чисто драматического умения привести все в действие, что невозможно не восхищаться им. Сам того не замечая, он затмевает и «Жиль Блаза», и «Хромого беса». Он ничему не верит, исключая то, что совершенно невероятно, и не желает расставаться со множеством своих суеверий. К счастью, он наделен и утонченностью, и честью, иначе, повторяя свои любимые выражения: «Я поклялся в этом Богу» и «Сам Господь хочет этого», он не остановился бы ни перед чем, что было в его силах.

Он стремится испытать все на свете, а испытав, умеет обойтись без всего. В его голове на первом месте женщины, и еще более — маленькие девочки. Он не может избавиться от этого наваждения и сердится на всех и вся: на прекрасный пол, на самого себя, на небо, на природу и на свои невозвратимые семнадцать лет. Он старается вознаградить себя тем, что можно есть и пить. Не в силах уже быть божеством в эмпиреях, лесным сатиром, он, оказавшись за столом, превращается в жадного волка: набрасывается на любую пищу, приступает с веселостью и заканчивает, печалясь, что не может повторить все сначала.

Если иногда он и пользовался своим превосходством над глупцами обоего пола, то лишь ради того, чтобы сделать счастливыми тех, кто его окружал. Среди крайнего разврата бурной юности, в жизни, полной приключений, нередко сомнительных, он выказывал благородство, утонченность и мужество. Он горд тем, что ничего не имеет и ничего не добился: не сделался ни банкиром, ни вельможей. Может быть, тогда ему было бы легче жить, но не вздумайте возражать ему, а тем паче смеяться. Возьмите на себя труд прочесть и выслушать его, но не говорите, что уже наперед знаете все эти истории. Притворитесь, будто слышите их впервые. И не забудьте поклониться ему, ибо любой пустяк может превратить его в вашего злейшего врага.

Поразительное воображение, живость, присущая итальянскому характеру, его путешествия, все те занятия, которые ему пришлось сменить, твердость перед лицом всяческих невзгод, душевных и физических, — все это делает его незаурядным человеком, а знакомство с ним — истинным подарком судьбы. Он достоин уважения и величайшей дружбы тех весьма немногочисленных особ, коих он удостаивает свой благосклонности.

Шарль де Линь

ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Я хочу предупредить читателя, что все, происшедшее со мной в течение жизни, — хорошее или плохое — без сомнения, заслужено, и поэтому я могу считать себя человеком свободным.

В этих мемуарах читатель увидит, что я, никогда не стремясь к какой-либо определенной цели, если и следовал системе, то лишь такой, чтобы отдаваться на волю увлекавшего меня ветра. Сколь полна превратностями сия свобода! Мои радости и неудачи, испытанное добро и зло, все убедило меня, что в нашем мире, как духовном, так и материальном, из зла всегда следует добро и наоборот. Внимательный читатель поймет по моим заблуждениям, какие пути не следует выбирать, и постигнет великое искусство крепко держаться в седле. Нужна лишь смелость, ибо сила без уверенности бесполезна. Нередко судьба улыбалась мне после неосторожного поступка, который мог бы низвергнуть меня в пропасть. И, напротив, умеренное и продиктованное благоразумием поведение часто приводило к несчастным последствиям.

Вас позабавит, когда вы узнаете, сколь часто я не останавливался перед тем, чтобы обманывать легковерных, жуликов и дураков, если мне это было необходимо. А в отношении женщин обман всегда взаимный и не идет в счет. Другое дело — дураки. Я с удовольствием вспоминаю, как они попадались ко мне в сети. Их наглость и высокомерие оскорбляют здравый рассудок, и когда обманывают дурака, разум оказывается отмщенным. Поэтому я полагаю, что обманувший дурака заслуживает лишь похвалы. Я далек от того, чтобы смешивать дураков с людьми, которых называют простаками. Они такие по недостатку образования, и я не желаю им зла. Многие из них отличаются безупречной честностью и прямодушием. Можно сказать, что это глаза, затянутые катарактой, которые без нее были бы прекрасны.

В 1797 году, семидесяти двух лет, когда я могу уже сказать «прожил», хотя и продолжаю еще существовать, мне было бы затруднительно придумать более приятное развлечение, чем занять себя своими собственными делами.

Вспоминая о прошлых радостях, я повторяю их и переживаю во второй раз. А неприятности и несчастья вызывают у меня лишь улыбку — их я уже не чувствую.

Мне были свойственны все темпераменты последовательно: слезливый — в младенчестве, сангвинический — в молодости, потом — раздражительный и, наконец, меланхолический, с

которым, возможно, я и останусь. Всегда согласовывал я пищу со своей конституцией и поэтому пользовался отменным здоровьем. Рано познав, что на него больше всего влияют излишества, как в еде, так и в воздержании, стал я своим собственным лекарем. Здесь уместно заметить, что излишества в воздержании много страшнее излишеств в неумеренности, потому что последние дают несварение, а первые — смерть.

Теперь я старик и, несмотря на крепость моего желудка, вынужден есть один раз в день. Но в этом меня вознаграждают легкость пера и сладкий сон.

Сангвинический темперамент сделал меня весьма подверженным чарам сладострастия. Я всегда был расположен менять одно наслаждение на другое и отличался в этом отменной изобретательностью. Отсюда, несомненно, происходила и моя склонность завязывать новые знакомства, и величайшая легкость, с которой я порывал их, всегда, однако, понимая причину этого и никогда не руководствуясь здесь чистым легкомыслием.

Чувственные наслаждения постоянно были моим главным и самым важным занятием. Я не сомневался, что создан для прекрасного пола, всегда любил оный и старался, по мере возможного, заставить полюбить и себя. Кроме того, я обожал хороший стол и со страстью интересовался всем, что возбуждало мое любопытство.

Я имел друзей, делавших мне добро, и пользовался любой возможностью доказать им мою благодарность. Но были и отвратительные враги, преследовавшие меня, их я не уничтожил только потому, что это оставалось вне моих сил. Я никогда бы не простил им, если бы не забвение всего испытанного зла. Человек, забывающий обиды, на самом деле не прощает. Он просто не помнит их. Потому что прощение есть чувство героическое, свойственное благородному сердцу и великодушному уму, а забвение происходит от слабости памяти или беззаботности спокойной души, и нередко лишь от желания покоя.

Я счел бы себя виновным, если бы обладал сегодня состоянием. Но у меня нет ничего, я все истратил, это утешает и оправдывает меня.

Если покажется иногда, что я слишком подробно описываю некоторые любовные сцены, не следует вменять мне это в вину, кроме тех случаев, когда перо мое недостаточно искусно. Ведь у моей старой души нет других наслаждений, как радоваться одним только воспоминаниям.

МОИ ПРЕДКИ И МОЯ СЕМЬЯ

Дон Якопо Казанова, рожденный в Сарагоссе, столице Арагона, был побочным сыном дона Франциско и в 1428 году похитил из монастыря донну Анну Палафокс, как раз на следующий день после принятия ею монашеского обета. Дон Якопо состоял секретарем короля дона Альфонсо. Он бежал с монахиней в Рим, где, после года тюрьмы, папа Мартин III освободил Анну от обета и, по ходатайству дона Хуана Казановы, дяди дона Якопо и распорядителя святейшего дворца, благословил их союз. Все дети от этого брака умерли в раннем возрасте, исключая дона Хуана, который в 1475 году взял себе в жены донну Элеонору Альбини, от которой имел одного сына по имени Марк-Антонио.

В 1481 году дон Хуан убил неаполитанского офицера и был принужден покинуть Рим, укрывшись в Комо с женой и сыном, но в поисках удачи уехал и оттуда. Он умер во время путешествия с Христофором Колумбом в 1493 году.

Что касается Марка-Антонио, то он сделался весьма приличным поэтом в духе Марциала и служил секретарем у кардинала Помпео Колонны. Из-за сатиры на Джулио Медичи он был вынужден оставить Рим и возвратиться в Комо, где женился на Абондии Реззонике.

Тот же Джулио Медичи, сделавшись папой под именем Климента VII, простил его и возвратил в Рим. В 1526 году город этот был взят и разграблен императорским войском, а Марк-Антонио умер от чумы.

Впрочем, не случись сей напасти, он все равно отправился бы на тот свет по причине разорения, так как солдаты Карла V забрали все принадлежавшее ему имущество.

Через три месяца после его смерти вдова произвела на свет Джакомо Казанову, который умер во Франции в глубокой старости полковником армии Фарнезе, сражавшегося против Генриха Наваррского, ставшего потом королем Франции. Он оставил в Парме сына, тот женился на Терезе Конти, у них родился Джакомо, взявший в 1680 году в жены Анну Роли. Джакомо имел двух сыновей, Джованни-Батисту и Гаэтано-Джузеппе-Джакомо. Старший выехал из Пармы в 1712 году и более не возвращался. Младший через три года также покинул свое семейство в возрасте восемнадцати лет.

Вот то, что я нашел в записях моего отца. Все остальное, о чем я собираюсь рассказать, мне стало известно от матери.

Гаэтано-Джузеппе-Джакомо покинул отчий дом, увлеченный

прелестями некой актрисы по имени Фраголетта. Влюбленному нечем было жить, и он решился зарабатывать хлеб, используя собственные способности, для чего занялся танцами, а через пять лет уже играл в комедиях, отличаясь, впрочем, скорее своим благонравием, нежели талантом.

То ли вследствие непостоянства, то ли по причине ревности он оставил Фраголетту и поступил в труппу венецианских комедиантов, игравших в театре Св. Самюэля. Напротив дома, где он обитал, жил башмачник по имени Джеронимо Фаруси вместе со своей женой Марией и единственной дочерью Занеттой, необыкновенной красавицей шестнадцати лет. Молодой комедиант влюбился в девицу и сумел уговорить ее дать себя похитить. Это представлялось единственным средством, поскольку, будучи актером, он никогда бы не получил согласия Марии, не говоря уже о самом Джеронимо, ибо в их глазах ничто не могло быть хуже ремесла лицедея. Юные любовники, запасшись нужными бумагами и в сопровождении двух свидетелей, предстали перед венецианским патриархом, который и дал им брачное благословение. Мать Занетты была безутешна, а отец умер с горя.

От этого союза я и родился через девять месяцев, а именно 2 апреля 1725 года. В следующем году матушка оставила меня на руках бабки — та простила ее, узнав, что муж обещал никогда не принуждать Занетту идти на подмостки. Комедианты всегда дают подобные обещания городским девушкам, на которых женятся, и никогда не держат свое слово, поскольку сами жены того и не требуют. А матери моей изрядно посчастливилось научиться играть в комедиях, ибо в противном случае у нее не было бы средств воспитывать шестерых своих детей, когда через девять лет она оказалась вдовой.

Итак, мне был год, когда отец оставил меня в Венеции и отправился на лондонские подмостки. Именно в этом великом городе мать моя впервые вышла на сцену, и там же в 1727 году она разрешилась от бремени моим братом Франческо, ныне знаменитым живописцем баталий, который с 1783 года живет в Вене.

К концу 1728 года матушка возвратилась с отцом в Венецию, а поскольку сделалась к тому времени комедианткой, то и продолжала заниматься своим ремеслом.

Еще через два года она произвела на свет моего брата Джованни, скончавшегося в Дрездене, будучи уже директором Академии живописи. За три последующих года она сделалась матерью двух дочерей, одна из которых умерла в раннем возрасте, а другая вышла замуж в Дрездене, где и жила еще в

1798 году. У меня был и третий брат, родившийся после смерти отца; он скончался пятнадцать лет назад в Риме.

Отец мой покинул этот мир в расцвете жизни. Хотя ему было всего тридцать шесть лет, он сошел в могилу, сопровождаемый сожалением общества: все ценили его выше занимаемого им положения по причине образцовой нравственности и глубочайших познаний в механике.

ГОДЫ ДЕТСТВА В ПАДУЕ

В сие печальное время мать моя была на шестом месяце, а потому не могла появляться на подмостках до конца пасхальных праздников. Несмотря на свою молодость и красоту, она отказывала всем, кто искал ее руки, и, поручив себя Провидению, надеялась воспитать нас собственными средствами.

Прежде всего она посчитала необходимым заняться мною, и отнюдь не по особому расположению, а вследствие моей болезни, из-за которой никак не могли понять, что со мной делать. Я был очень слаб, совершенно лишен аппетита, ничем не умел занять себя и с виду казался почти слабоумным. Врачи не могли договориться между собой о причине моего недуга. Каждую неделю, говорили они, он теряет два фунта крови из имеющихся шестнадцати или восемнадцати. Откуда же берется столь обильное кровотечение?

Синьор Баффо, большой приятель моего покойного отца, обратился к знаменитому падуанскому врачу Макопу, который прислал ему свой диагноз в письменном виде. В этом документе, сохраняющемся у меня до сего времени, говорится, что кровь человека есть эластическая жидкость, способная увеличивать и уменьшать свою густоту, и мое кровотечение происходит по причине именно чрезмерной густоты. Он заключал, что это может быть порождено лишь вдыхаемым мною воздухом, а посему следует или увезти меня, или готовиться к вечной разлуке. Согласно его мнению, выражение тупости на моем лице также объясняется густотой крови.

По получении сего оракула аббат Гримани взялся найти для меня в Падуе подходящий пансион, обратившись к помощи одного знакомого химика, жившего в этом городе. Фамилия химика была Оттавиани, и служил он, кроме всего прочего, еще и антикваром. За несколько дней пансион отыскался, и 2 апреля 1734 года, в день, когда мне исполнилось девять лет, меня по Брентскому каналу отвезли на барке в Падую.

Мы приехали в ранний час и явились к Оттавиани, жена которого осыпала меня ласками. Он сразу же повел нас в тот дом, не далее чем в пятидесяти шагах, где я должен был остаться на пансионе у старухи-словенки. Перед нею открыли мой маленький сундучок и перебрали все его содержимое, после чего отсчитали шесть цехинов — плату за полгода вперед. Из этих денег она должна была кормить меня, содержать в чистоте и платить учителю; жалобы ее, что на все никак не хватит, остались без внимания. Меня расцеловали, велели беспрекословно слушаться

и покинули. Вот так избавились от забот о моей персоне.

Как только мы оказались одни, словенка повела меня на чердак и указала мою кровать среди четырех других. Три из них принадлежали мальчикам моего возраста, которые в то время были в школе, а четвертая — служанке, присматривавшей за ними. Потом хозяйка показала мне сад и оставила гулять там до обеденного часа.

Я не испытывал ни радости, ни печали и не чувствовал даже малейшего любопытства. Меня ужасала сама хозяйка: не имея никакого представления ни о красоте, ни о безобразии, я не мог преодолеть отвращения при виде ее лица, всей наружности и манеры разговаривать. Она была высокой и плотной, как солдат, с желтой кожей, черными волосами и украшенным заметной растительностью подбородком. Безобразная и наполовину открытая грудь, свисавшая почти до пояса, завершала портрет. Ей было, наверное, лет пятьдесят.

То, что называлось «садом», представляло собой квадрат тридцать на сорок шагов, где глаз не встречал ничего приятного, кроме зелени.

К полудню явились трое моих товарищей и, словно мы были уже давно знакомы, стали рассказывать о множестве всяких предметов, почитая само собой разумеющимся то, о чем у меня не было ни малейшего представления.

Я ничего не отвечал им, но это никого не обескуражило, и под конец меня принудили разделить их невинные забавы. Я с готовностью согласился бегать, ездить друг на друге и кувыркаться. Потом нас позвали обедать. Я уселся за стол, но, видя перед собой деревянную ложку, отбросил ее и потребовал свой серебряный прибор, который очень любил как подарок своей доброй бабки. Служанка возразила мне, что у хозяйки заведено для нас все одинаковое; я вынужден был подчиниться сему обычаю и принялся есть суп, удивляясь, что моим товарищам разрешают поглощать его с такой поспешностью. После этого весьма дурного супа нам дали по маленькому кусочку трески — день был постный, — потом по яблоку, и обед закончился. На столе не было ни чашек, ни стаканов, и все прикладывались к одной глиняной кружке с отвратительным пойлом, приготовлявшимся из очищенного винограда и горячей воды. Дальше я пил только чистую воду. Подобный стол поразил меня, хоть я и не понимал, можно ли считать его плохим.

После обеда служанка отвела меня в школу к молодому священнику доктору Гоцци, с которым словенка сговорилась на сорока су в месяц, то есть одиннадцатую часть цехина. Меня надо было учить письму, и я попал к шестилетним детям, тут же

принявшимся смеяться надо мной.

По возвращении мне дали ужин, оказавшийся еще хуже обеда. Я был удивлен, что на мои жалобы никто не обратил внимания.

Меня уложили в постель, где известные всем насекомые трех разновидностей не дали даже сомкнуть глаз.

К тому же крысы, бегавшие по всему чердаку и забиравшиеся на кровати, заставляли меня леденеть от ужаса.

Пожиравшие мое тело паразиты несколько умеряли страх перед крысами, а страх, в свой черед, отвлекал меня от укусов. Что касается служанки, то она не обращала на мои крики никакого внимания.

С первыми же лучами солнца я покинул отвратительное ложе и, пожаловавшись служанке на перенесенные тяготы, попросил у нее другую рубашку, так как на мою было страшно смотреть. Она же отвечала, что перемену делают только по воскресеньям, а мои угрозы пожаловаться хозяйке лишь рассмешили ее.

Впервые в жизни я плакал от огорчения и злости. В школе я все утро спал, и один из моих товарищей рассказал учителю о причине, желая посмеяться надо мной. Но ниспосланный самим Провидением добрый священник отвел меня к себе в комнату и, удостоверившись собственными глазами в правдивости моего рассказа, тут же пошел со мной в пансион и указал ведьме на покрывавшие мою кожу волдыри. Изобразив удивление, та обвинила во всем служанку. Священник пожелал осмотреть мою постель, и я, не менее чем он, был поражен нечистотой белья, на котором провел ночь. Проклятая баба твердила свое, присовокупляя угрозы прогнать девушку, но когда последняя через некоторое время появилась, то не пожелала терпеть обвинений и заявила, что виновата сама хозяйка. При этом она открыла постели моих товарищей, и мы могли убедиться, что с ними обходились ничуть не лучше. Обозлившаяся хозяйка влепила ей пощечину, но служанка не осталась в долгу, после чего спаслась бегством. Учитель ушел, сказав, что не примет меня в школу, если я не буду таким же опрятным, как и остальные ученики. А на мою долю остались брань и угрозы выставить меня за дверь, если подобная история повторится.

Учитель взял на себя особливую заботу о моем образовании. Он даже усадил меня за свой стол, и я, дабы доказать, что чувствителен к такому отличию, изо всех сил принялся учиться: уже через месяц я писал настолько хорошо, что мне велено было приниматься за грамматику.

Новый образ жизни, неутихающие муки голода и прежде всего, конечно, падуанский воздух принесли мне здоровье, о

котором ранее я не смел и помышлять. Но это же здоровье еще более усиливало голод, становившийся совсем непереносимым. Я рос на глазах, непробудно спал по девять часов и постоянно видел один и тот же сон: будто я сижу за столом, уставленным кушаньями, и насыщаюсь. А наутро приходилось убеждаться, сколь разочаровывают сладкие сны. Всепожирающий голод совсем извел бы меня, если бы я не принялся похищать и поедать все, что только можно было найти и взять, когда никто не видит.

Нужда делает человека изобретательным. Я заприметил в кухонном шкафу штук пятьдесят копченых селедок и понемногу съел их все, равно как и подвешенные у дымохода колбасы. Для этого я вставал ночью и тихонько прокрадывался на кухню. Самым большим лакомством для меня были только что снесенные яйца, которые я таскал из птичника еще теплыми. Я занимался грабительством даже на кухне моего учителя.

Словенка, отчаявшаяся изловить вора, стала прогонять прислугу. Все же случай стащить что-нибудь представлялся далеко не всегда, и поэтому я был тощий, словно скелет.

За пять-шесть месяцев я сделал такие успехи, что учитель назначил меня старостой школы. В мои обязанности входило проверять уроки тридцати учеников, исправлять ошибки и подавать учителю с похвальным или порицательным отзывом. Однако же лентяи быстро нашли способ смягчить меня. Когда в их латыни обнаруживались ошибки, они покупали мою снисходительность жареными котлетами, а иногда и деньгами. В скором времени я уже не довольствовался контрибуцией с невежд и, как истинный тиран, отказывал в своем благоволении каждому, кто не сумел задобрить меня. Не в силах сносить больше такую несправедливость, они пожаловались учителю. Я был уличен и низвергнут. Несомненно, это падение принесло бы мне большую беду, если бы судьба не положила вскоре конец моему первоначальному искусу.

Учитель все-таки любил меня и однажды, приведя в свою комнату, спросил, не хочу ли я последовать некоторым его советам, дабы распроститься с пансионом словенки и перейти к нему в дом. Видя восторг, вызванный этим предложением, он дал мне переписать три письма, которые я затем должен был отослать аббату Гримани, моему благожелателю синьору Баффо и доброй моей бабке. В этих письмах я описывал все свои страдания, изображая неизбежность смерти, если не заберут меня от словенки и не поместят к моему учителю, который, однако, желает иметь два цехина в месяц.

Синьор Гримани даже не удостоил меня ответом и лишь велел своему другу Оттавиани выговорить мне за то, что я дал

совратить себя с правильного пути. Однако синьор Баффо поговорил с моей бабкой и в письме сообщил мне, что в скором времени я могу надеяться на перемену. Так оно и вышло — через неделю, как раз в ту минуту, когда я садился обедать, появилась моя добрейшая бабка. Она вошла вместе с хозяйкой, и я, едва завидев ее, тут же бросился ей на шею, обливаясь слезами. Она села и поставила меня меж колен, уже одним присутствием сообщив мне спокойствие и уверенность. Тут же при самой словенке я перечислил ей все свои злоключения и, указав на нищенский стол, который составлял единственное мое пропитание, отвел ее к своей постели. Закончил я просьбой накормить меня настоящим обедом после шести месяцев голодного существования. Сама словенка только твердила, что не могла предоставить ничего лучшего за те деньги, которые ей заплатили. Это была сущая правда, но кто принуждал ее держать пансион и быть мучительницей детей, которых родительская скаредность оставляла на ее попечение?

Моя бабка с совершенным спокойствием объявила ей, что намеревается забрать меня, и велела уложить в сундучок все мои пожитки. Я с восторгом увидел свой серебряный прибор и, схватив его, поспешил спрятать в карман. Радость моя при виде приготовлений не поддается описанию. Впервые в жизни я почувствовал то удовлетворение, которое заставляет все простить и изгладить из памяти.

Бабка отвела меня в гостиницу, где она остановилась, и мы сели обедать. Впрочем, сама она ни к чему не притрагивалась, настолько поразила ее та жадность, с которой я набросился на еду. Тем временем явился предупрежденный уже доктор Гоцци, достойные манеры которого сразу расположили бабку в его пользу. Благообразный священник двадцати шести лет от роду отличался дородностью, скромным обращением и услужливостью. За четверть часа все было договорено. Добрая моя бабка отсчитала ему двадцать четыре цехина за год вперед и получила в том квитанцию. Однако же она продержала меня у себя еще три дня, чтобы нарядить в одеяния аббата и заготовить парик: вследствие нечистоплотности мне пришлось обрезать волосы.

По прошествии трех дней она пожелала лично водворить меня к доктору Гоцци и просить его мать позаботиться обо мне. Последняя сначала потребовала, чтобы для меня прислали или купили кровать, но доктор возразил, что я могу спать с ним, так как постель его достаточно вместительна. Бабка поблагодарила его, после чего мы пошли проводить ее к барке, на которой она отправлялась обратно в Венецию.

Семейство доктора Гоцци состояло из его матери, относившейся к нему с большим почтением, поскольку родилась она простой крестьянкой и не считала себя достойной иметь сына священника: она была стара, безобразна и сварлива; отца, башмачника, который работал целыми днями и не говорил никому ни слова, даже за столом. Лишь по праздникам он становился общительнее, так как в эти дни неизменно посещал питейное заведение в компании приятелей и возвращался лишь к полуночи, едва держась на ногах и распевая стихи Тассо. В таком состоянии старик никак не мог улечься, а когда его пытались принудить к тому, свирепел. Трезвый он был совершенно лишен сообразительности и не мог рассуждать даже о самом пустячном семейном деле. Жена его говаривала, что он никогда бы на ней не женился, если бы перед тем, как идти в церковь, его не угостили добрым завтраком.

Доктор Гоцци имел также сестру тринадцати лет по имени Беттина. Это была веселая, красивая девица и великая охотница до чтения романов. Отец с матерью непрестанно бранили ее за то, что она слишком много времени проводит у окна, а доктор не одобрял пристрастия сестры к чтению. Сия девица сразу же приглянулась мне, хоть я и не понимал причины этого чувства. Именно тогда мало-помалу возгорелись в моем сердце первые искры той страсти, которая впоследствии сделалась для меня господствующей.

Через шесть месяцев после моего водворения в этом доме доктор оказался без учеников — все они перестали ходить к нему, так как я сделался единственным предметом его привязанности. По этой причине он решился открыть небольшую школу с пансионом, однако прошло два года, прежде чем таковой замысел смог осуществиться, а тем временем он передал мне все свои познания, которые, по правде говоря, были весьма скромными. Впрочем, и этого оказалось достаточно, чтобы познакомить меня со всеми науками. Кроме того, я выучился у него играть на скрипке, чем был принужден воспользоваться при обстоятельствах, о которых читатель узнает в свое время. Добрый доктор Гоцци, не обладая глубиной ни в каком предмете, преподавал мне аристотелеву логику и космографию по древней системе Птолемея: а я непрестанно подсмеивался и выводил его из себя вопросами, на которые он не знал, что ответить. Зато его нравственность была безупречна, а в религии, не будучи ханжой, он отличался величайшей строгостью. Все для него основывалось на вере, и ничто не смущало его разум: потоп был Всемирным; люди до этой катастрофы жили по тысяче лет, и Бог имел обыкновение беседовать с ними; Ной строил ковчег сто лет, а

Земля, созданная Богом из ничего, находится в центре Вселенной. Когда я пытался убедить его, что существование «ничто» абсурдно, он обрывал меня и называл глупцом.

Любил он удобную постель, полуштоф и семейное веселье. Его не привлекали ни острое словцо, ни проницательный ум, ни тем более скептицизм, столь легко обращающийся в злословие, и он смеялся над глупостью тех, кто проводит время за чтением газет, которые, по его мнению, всегда лгут и повторяют одно и то же. Он говорил, что нет ничего обременительнее неопределенности, и потому не одобрял ни в ком наличия собственного мнения, порождающего колебания веры.

Его любимым занятием было произносить проповеди, чему способствовали благообразие лица и выразительность голоса. Слушать его приходили только женщины, в которых он тем не менее видел заклятых врагов; а когда ему приходилось разговаривать с какой-нибудь из них, он никогда не смотрел ей в лицо. Плотский грех он почитал наитягчайшим среди всех других. Проповеди его были наполнены изречениями греческих авторов, которые он переводил на латынь. Однажды, когда я осмелился сказать ему, что переводить надо на итальянский, так как прихожанки одинаково не понимают ни латыни, ни греческого, он рассердился настолько сильно, что я уже не решался более заговаривать об этом предмете. Впрочем, он хвастался мною перед своими друзьями как настоящим чудом, поскольку я научился читать по-гречески сам, с помощью одной лишь грамматики.

На Великий пост 1736 года матушка моя в письме сообщила доктору, что, собираясь скоро отправиться в Петербург, желала бы повидать меня, и поэтому просит его приехать вместе со мной на три или четыре дня в Венецию. Приглашение немало смутило моего учителя, ибо он никогда не видывал ни Венеции, ни хорошего общества, но не хотел при этом показаться совершенным профаном. После некоторых колебаний мы собрались ехать, и все семейство проводило нас на барку.

Матушка приняла его с самой благородной непринужденностью, а поскольку она была хороша собой, как ясный день, мой бедный учитель сильно засмущался и не осмеливался даже смотреть в ее сторону, хотя и вынужден был отвечать на вопросы. Что касается меня, то я привлекал внимание всех окружающих, да оно и не удивительно — помня меня чуть ли не слабоумным, они поражались, насколько я выправился за эти два года. Доктор был весьма доволен, видя, что заслугу в таковой метаморфозе относят исключительно на его счет.

Однако же матушку неприятно поразил мой парик, который

белел над моим смуглым лицом, являя жестокое несоответствие с темными глазами и ресницами. Доктор, спрошенный, почему мне не причесывают собственные волосы, отвечал, что с париком его сестре легче содержать меня в чистоте. Этот наивный ответ вызвал общий смех, усилившийся еще более, когда вслед за вопросом, замужем ли она, вмешался в разговор я с уверениями в том, что Беттина самая красивая девушка во всем квартале и пока ей только четырнадцать лет. Матушка пообещала доктору сделать его сестре хороший подарок, но при условии, что меня будут причесывать без парика. Он обещал непременно исполнить ее желание. Затем матушка велела позвать парикмахера, который принес подходящий для меня парик.

Все общество, исключая моего учителя, село за карты, а я отправился в комнату бабки повидаться со своими братьями. Франческо показал мне свои архитектурные рисунки, которые я из вежливости признал довольно сносными. Джованни не мог ничем похвастать, и поэтому я счел его совершенным ничтожеством. Что касается остальных, то они были еще совсем малы.

За ужином доктор, сидевший возле моей матери, держался с крайней неловкостью и, возможно, не произнес бы ни единого слова, если бы некий сочинитель-англичанин не обратился к нему на латыни. Ничего не поняв, он отвечал, что не разумеет по-английски, чем вызвал всеобщее веселье. Синьор Баффо пришел ему на помощь, заметив, что англичане имеют обыкновение произносить латынь в точности как свой родной язык.

По прошествии четырех дней, когда наступило время расставаться, матушка вручила мне пакет для Беттины, а аббат Гримани подарил четыре цехина на книги. Через неделю после моего отъезда матушка уехала в Петербург.

Возвратившись в Падую, учитель три или четыре месяца чуть ли не каждый день вспоминал о моей матушке, а Беттина, найдя в предназначавшемся ей пакете пять локтей черного люстрина* и дюжину перчаток, воспылала ко мне такой привязанностью, что менее чем за полгода я смог избавиться от парика. Она ежедневно являлась причесывать меня, часто еще до того, как я вставал, и тогда мыла мне лицо, шею и грудь, что сопровождалось ребяческими шалостями, каковые, против моей воли, вызывали во мне волнение. Усевшись на постель, она говорила, что я толстею, чем приводила меня в крайнее возбуждение.

Я сердился на себя за неумение отвечать ей тем же. Она осыпала меня нежнейшими поцелуями, но я еще не осмеливался возвращать их, несмотря на все свое к тому желание.

В начале осени доктор взял трех новых пансионеров, и один

из них, юноша лет пятнадцати, менее чем за месяц сделался с Беттиной весьма близок.

Это наблюдение вызвало во мне чувства, о которых до тех пор я не имел ни малейшего понятия. Это была совсем не ревность, а в некотором роде благородное презрение, ибо Кордиани — невежественный, грубый, лишенный ума и манер, да к тому же сын простого крестьянина, — имел передо мной лишь одно преимущество: свои годы. Мое зарождающееся самолюбие говорило, что я достойнее его, и во мне росло чувство гордости, смешанное с презрением к Беттине, которую, сам того не подозревая, я уже любил.

Она поняла мое отношение по тому, как я стал принимать ее ласки за утренним туалетом: не отвечал на поцелуи и всячески увертывался. Однажды, уязвленная этим, она с притворным сожалением сказала, что я просто ревную к Кордиани. Упрек показался мне унизительной клеветой, и я отвечал, что полагаю их вполне достойными друг друга.

Она лишь улыбнулась в ответ, но сама решила любыми способами заставить меня ревновать.

Однажды утром она явилась к моей постели с парой белых чулок, которые сама связала для меня. Сделав мне прическу, она захотела их примерить, дабы убедиться, все ли хорошо получилось. Доктор как раз в это время служил мессу. Надевая мне чулки, она стала говорить о моих не совсем чистых коленях и, не спрашивая позволения, принялась мыть меня. Я не хотел показать, что мне стыдно, и не сопротивлялся, совершенно не подозревая, чем все это кончится. Беттина зашла слишком далеко в своих заботах о чистоте, и ее любопытство настолько возбудило меня, что ей пришлось остановиться, лишь когда идти далее было уже невозможно. Вернувшись к спокойному состоянию, я счел нужным признать себя виновником всего случившегося и просить у нее прощения. Она не ожидала этого и, недолго поразмыслив, снисходительно отвечала, что, напротив, вся вина лежит на ней, и в будущем подобное никогда не повторится. Сказав это, она оставила меня рассуждать о происшедшем с самим собой.

Я жестоко терзался угрызениями совести. Мне представлялось, что я обесчестил ее, злоупотребил доверием и гостеприимством всего семейства и могу искупить свое ужасное преступление, лишь женившись на ней, если, конечно, Беттина согласится на такого недостойного мужа.

Меня объяла мрачная тоска, усиливавшаяся день ото дня, тем более что Беттина совершенно перестала приходить ко мне по утрам. Первую неделю сдержанность девицы представлялась вполне объяснимой, и печаль моя превратилась бы в чисто

платоническую любовь, если бы ее обращение с Кордиани не отравляло мою душу ядом ревности, хоть я и не мог даже предположить, что и с ним она совершила тот же грех.

Рассудив, в конце концов, что все случившееся произошло по собственному ее желанию и лишь раскаяние мешает ей приходить ко мне, я почувствовал себя весьма польщенным, ибо мог в таковом случае рассчитывать на взаимность. Сие заблуждение побудило меня ободрить ее запиской.

Я сочинил короткое письмецо, впрочем, вполне достаточное, чтобы успокоить ее, если бы она полагала себя виновной или подозревала во мне чувства, противоположные тем, каких требовало ее самолюбие. Письмо показалось мне истинным шедевром, который сам по себе мог бы дать мне решительный перевес над Кордиани. Ведь последний, в моем представлении, не мог рассчитывать даже на минутное колебание Беттины при выборе одного из нас. Получив записку, она уже через полчаса сказала мне, что завтра утром будет у меня в комнате. Я ждал ее, но напрасно. Возмущению моему не было границ, и я тем более удивился, когда за обедом она предложила нарядить меня девочкой к балу, который давал через неделю наш сосед доктор Оливо. Я согласился, усматривая в этом случай для возобновления наших нежных отношений. Но вот какие события послужили препятствием этому плану и даже явились причиной разыгравшейся трагикомедии.

Крестный отец доктора Гоцци, богатый старик, живший в деревне, долгое время болел и теперь, полагая себя на пороге смерти, послал доктору свой экипаж и просил незамедлительно приехать, дабы присутствовать при его кончине.

Желая использовать сие обстоятельство в своих целях, я, чтобы не мучиться ожиданием назначенного бала, улучил минуту и шепнул Беттине, что оставлю открытой дверь своей комнаты и, когда все улягутся, буду ждать ее. Она обещала непременно прийти. Я был в восторге, видя, что желанная минута совсем близка.

Возвратившись к себе в комнату, я не стал раздеваться, а только потушил свет. До полуночи я ждал без особого беспокойства. Но пробило два, три и четыре часа ночи, а ее все не было. Кровь во мне разыгралась, я страшно рассердился. Большими хлопьями падал снег, но изнемогал я более от ярости, чем от холода, и за час до рассвета, не в силах сдерживать себя, решился осторожно, без туфель, чтобы не разбудить собаку, спуститься вниз. Дверь Беттины должна была быть открыта, если она вышла. Однако дверь не поддавалась. Поскольку ее могли запереть только изнутри, я решил, что Беттина заснула, и хотел

стучать, но побоялся лая собаки. Удрученный, не зная, что делать, уселся я было прямо на лестнице, но от холода и усталости почел за лучшее все же возвратиться к себе. Однако стоило мне подняться, как в тот же миг послышался у Беттины шум. Надежда увидеть ее возвратила мне силы, я подошел к двери, которая вдруг отворилась, но вместо самой девицы я увидел Кордиани, и сильнейший удар ногой в живот свалил меня. Кордиани быстро пошел в залу, где спал вместе с двумя своими товарищами, и заперся там.

Я тут же вскочил, намереваясь выместить обиду на Беттине, которую ничто не спасло бы от моей ярости. Но дверь опять закрылась, и мне оставалось только изо всех сил пинать ее ногами. Залаяла собака, и я принужден был поспешно укрыться в своей комнате, где бросился на постель. Нужно было дать отдохновение душе и телу, ибо чувствовал я себя хуже мертвого.

Обманутый, униженный и избитый, я в течение трех часов перебирал самые страшные планы мести. Отравить обоих казалось мне слишком легким наказанием. Для нее будет много хуже, если рассказать обо всем брату. Мои двенадцать лет еще не выработали во мне способности к хладнокровному возмездию.

Вечером вернулся доктор: Кордиани, страшившийся моей мести, пришел спросить о моих намерениях. Но я бросился на него с перочинным ножом, и он поспешил сбежать. Мысль рассказать доктору про эту скандальную историю уже не приходила мне в голову, поскольку могла зародиться лишь в минуту ослепления.

Должен признаться, что, несмотря на этот превосходный урок, полученный еще в детские годы, урок, который мог бы послужить путеводителем на будущее, в течение всей моей жизни женщины водили меня за нос. Лет двенадцать назад только благодаря моему ангелу-хранителю я не женился в Вене на одной молодой ветренице, в которую был безумно влюблен. Теперь мне семьдесят два года, и я полагаю себя защищенным от подобных сумасбродств. Но, увы, именно это и печалит меня!

Тем временем матушка моя возвратилась из Петербурга, где императрица Анна Иоанновна нашла итальянскую комедию недостаточно занимательной. Приехав в Падую, матушка сразу же послала к доктору Гоцци, который поспешил отвести меня к ней в гостиницу. Мы вместе отобедали, и, прежде чем расстаться, она подарила доктору красивый мех, а для Беттины дала мне превосходную волчью шкуру.

Через полгода матушка снова вызвала меня, уже в Венецию: она собиралась по бессрочному контракту в Дрезден на службу к саксонскому электору* и королю Польши Августу III. Она взяла с

собой моего брата Джованни, которому было тогда восемь лет и который ревел, словно резаный, что показалось мне совсем глупым, поскольку в его отъезде я не видел ничего трагического.

После этого я провел в Падуе еще год и занимался изучением права. Шестнадцати лет я получил степень доктора, представив по гражданскому праву диссертацию «О завещаниях», а по каноническому — «Дозволительно ли евреям строить новые синагоги».

Хотя я чувствовал в себе призвание к медицине, меня не послушали, полагая за наилучшее юриспруденцию, к которой я испытывал неодолимое отвращение. Считалось, что заработать достаточные средства можно лишь профессией адвоката. Если бы мои родные дали себе труд поразмыслить, то предоставили бы мне следовать собственным своим склонностям, и я посвятил бы себя медицине, где шарлатанство необходимо еще более, чем в юриспруденции. Однако я не стал ни лекарем, ни адвокатом, что неудивительно, поскольку никогда не испытывал нужды в услугах тех и других. Судейское крючкотворство разоряет куда больше семейств, чем защищает, а погибающие от руки врача намного превышают число исцеленных.

Необходимость посещать лекции профессоров в университете позволила мне одному выходить на улицу, и, желая воспользоваться всей полнотой свободы, я не замедлил завести весьма дурные знакомства среди наиболее известных студентов. А таковыми были самые отъявленные шалопаи, развратники, картежники, дебоширы, пьяницы, совратители невинных девиц. Все они отличались лживостью, грубостью и неспособностью даже к малейшему добродетельному чувству. Вот в такой компании я начал познавать мир, читая в великой книге опыта.

Влияние нравственной теории на жизнь человека можно уподобить перелистыванию оглавления в книге, которую еще не начал читать. Таковы же проповеди и правила поведения, внушаемые учителями. Мы слушаем со вниманием, но едва представится возможность испытать полученные советы, сразу возникает желание проверить, произойдет ли то, от чего нас предостерегали. Мы не можем удержаться и бываем наказаны. Единственное, что вознаграждает, — это сознание обретенной истины и право поучать других. Но ведь эти «другие» ничем не отличаются от нас, и поэтому мир остается все в том же состоянии, если не идет от плохого к еще худшему.

Пользуясь предоставленной мне доктором Гоцци свободой, я открыл для себя истины, совершенно не известные мне ранее. В первые же дни самые отчаянные из студентов завладели мною и принялись меня испытывать. Видя, что я неопытен, они занялись

моим образованием, устраивая всяческие ловушки. Все началось с карт. Завладев теми небольшими деньгами, которые у меня были, они заставили меня играть на слово, и мне пришлось заниматься разными темными делами, чтобы заплатить долги. Вот тут я узнал, что такое заботы! Эти жестокие уроки, тем не менее, были мне полезны, ибо научили не доверять наглецам, восхваляющим вас в лицо, и не принимать лесть за чистую монету. Кроме того, я постиг, что следует всемерно избегать искателей скандалов: их общество подобно тропинке на краю пропасти. И я не попал в сети женщин, сделавших разврат своим ремеслом, лишь потому, что не видел среди них ни одной столь же привлекательной, как Беттина.

В те времена падуанские студенты имели большие привилегии, которые превратились прямо-таки в узаконенное зло. А дабы сохранить их в действии, студенты нередко совершали настоящие преступления, причем виновных не наказывали с должной строгостью: из соображений государственной пользы власти не хотели, чтобы уменьшилось число студентов, стекавшихся в этот славный университет со всей Европы. Венецианское правительство взяло себе за правило платить большое жалованье знаменитым профессорам и предоставлять тем, кто слушает их лекции, полную свободу. Студенты подчинялись лишь старшему чиновнику, который назывался синдиком. Этот синдик нес перед правительством ответственность за соблюдение порядка и в случае нарушения законов должен был передавать провинившихся в руки правосудия. Студенты обычно подчинялись ему, так как если они предоставляли хоть видимость оправдания, он всегда становился на их сторону.

Они, например, носили любое запрещенное оружие, безнаказанно совращали девиц, которых родители не умели защитить от их посягательств, и своими шумными выходками нарушали спокойствие по ночам. Эти необузданные юнцы стремились лишь удовлетворять собственные прихоти и развлекаться, нимало не заботясь о покое своих ближних.

Однажды случилось так, что в кофейню, где сидели два студента, зашел полицейский пристав, чем они были весьма недовольны и велели ему уйти. Пристав не послушался, и тогда один из школяров выстрелил в него из пистолета, но промахнулся. Полицейский оказался ловчее и ответным выстрелом ранил нападавшего. В университет сразу же сбежалось множество студентов, они разделились на отряды, отправились искать по всем кварталам полицейских и в отместку за нанесенное оскорбление убивать их. В одной из стычек полегли

на месте двое школяров. Тогда собрался весь университет, и студенты поклялись не складывать оружие до тех пор, пока в Падуе остается хоть один полицейский. Вмешалось правительство, но синдик обещал кончить дело миром, если студенты будут удовлетворены. Полицейского, ранившего студента в кофейне, повесили, и спокойствие восстановилось. В течение всех восьми дней беспорядков я не хотел отставать от других и присоединился к общему потоку школяров.

Вооружившись пистолетами и карабином, я расхаживал по улицам вместе с товарищами и искал врагов. Помню, мне было весьма досадно, что нашему отряду не посчастливилось встретить хоть одного полицейского.

Доктор смеялся надо мной, но Беттина восхищалась моей храбростью.

Начав новый образ жизни, я не хотел казаться беднее своих друзей и впал в непозволительные для меня расходы. Пришлось продать или заложить все, что у меня было, но все равно я оказался не в состоянии заплатить долги. Не зная, на что решиться, я написал письмо моей доброй бабке и попросил о помощи. Вместо того чтобы послать мне денег, она 1 октября 1739 года явилась в Падую собственной персоной и, отблагодарив доктора и Беттину за их заботы, увезла меня в Венецию.

Перед расставанием прослезившийся доктор подарил мне свою самую большую драгоценность — мощи не помню уж какого святого. Возможно, я хранил бы их и до сегодняшнего дня, если бы они не были оправлены в золото. Благодаря последнему обстоятельству смогло произойти чудо, выручившее меня в дни нужды.

Впоследствии, когда я приезжал в Падую для продолжения занятий в университете, то неизменно останавливался у сего доброго священника, хотя мне и было досадно видеть около Беттины этого болвана Кордиани, собиравшегося на ней жениться. Я не мог простить себе, что предрассудок — от него я, впрочем, скоро избавился — принудил меня оставить ему цветок, который легко можно было сорвать самому.

ВЕНЕЦИЯ

«Он приехал из Падуи, где занимается изучением наук», — такими словами меня представляли всюду, куда бы я ни приходил, и это незамедлительно вызывало интерес моих сверстников, похвалы отцов и ласковое отношение старух и женщин, не достигших еще преклонного возраста, но желающих целовать меня, не нарушая приличий.

Принявший меня настоятель церкви Святого Самюэля составил мне протекцию к монсеньору Корреро, венецианскому патриарху, который выстриг мне тонзуру. Радость и удовлетворение моей бабки были безграничны. Сразу нашли достойных учителей для продолжения моего ученья, и синьор Баффо выбрал из них аббата Скиаво: преподавать мне итальянское правописание и стихосложение, к нему я имел решительную склонность. Меня устроили со всеми возможными удобствами у брата Франческо, который обучался театральной архитектуре. Сестра и самый младший из братьев жили у нашей доброй бабки, в доме, где она намеревалась умереть, потому что там скончался ее муж. А мы с Франческо занимали дом, в котором последние годы жил отец, и мать все еще продолжала платить аренду. Дом этот был просторен и превосходно обставлен.

Хотя аббат Гримани и считался моим первейшим покровителем, видел я его чрезвычайно редко. Зато я сильно привязался к синьору Малипьеро. Это был семидесятилетний сенатор, который не желал более вмешиваться в государственные дела и предавался в своем дворце радостям беззаботной жизни. У него каждый вечер собиралось избранное общество: дамы, которые в лучшие свои годы умели ничего не упустить, и мужчины, отличавшиеся умом и осведомленные обо всем, что происходит в городе. Сам он остался холостяком и обладал большим состоянием, но, к несчастью, три-четыре раза в год страдал жесточайшими приступами подагры, которая лишала его возможности пользоваться то одной, то другой частью тела. Лишь голова, легкие и желудок оставались не подверженными этой лютой напасти. Он был недурен собой и любил изысканный стол. Острый ум и глубокое знание света соединялись в нем с той проницательностью, которая остается у сенатора после сорока лет службы. Он перестал волочиться за красавицами, когда, перебрав не менее двадцати любовниц, сознался самому себе, что уже нет никакой надежды понравиться хоть одной из них. Почти совершенно разбитый параличом, он не выглядел, однако же,

немощным, когда сидел в креслах, беседовал или находился за столом. Он ел только раз в день и всегда в одиночестве, поскольку, лишившись зубов, мог жевать лишь весьма медленно и не желал ни торопиться сам из любезности к своим гостям, ни утомлять их ожиданием. Подобная деликатность лишала его удовольствия видеть за своим столом приятных ему особ и особенно огорчала его превосходного повара.

Этот человек, отступившийся от всего, исключая самого себя, питал еще, несмотря на лета и подагру, склонность к любовным делам. Он был влюблен в юную девицу по имени Тереза Имер, дочь комедианта, которая жила в соседнем с его дворцом доме и окна которой располагались как раз напротив его спальни. Семнадцатилетнее создание отличалось красотой, кокетством и причудами. Она училась музыке, и ее постоянно можно было видеть в окне, что совершенно выводило старика из равновесия и доставляло ему жестокие мучения. Тереза каждый день являлась к нему с визитом, однако всегда в сопровождении матери, отставной актрисы, которая ежедневно водила дочку слушать мессу и заставляла ее каждую неделю исповедоваться. Однако же не менее исправно ходила она со своим чадом к влюбленному старику, устрашавшему меня своим исступлением, если девица отказывала ему в поцелуе под тем предлогом, что с утра готовится к причастию и боится оскорбить Бога.

Какая картина для меня, имевшего лишь пятнадцать лет от роду немого свидетеля этих эротических сцен! Бесстыдная мать поощряла сопротивление юной особы и даже осмеливалась поучать старика, который не решался возражать и лишь сдерживался, чтобы не запустить в нее первым попавшим под руку предметом. В таковом состоянии гнев брал верх над вожделением, и, когда они уходили, ему оставалось лишь утешаться философскими рассуждениями.

Благодаря участию в этих сценах я завоевал расположение вельможи. Он допустил меня к своим вечерним собраниям, на которые, как я уже говорил, съезжались престарелые дамы и рассудительные кавалеры. Он говорил мне, что в подобном обществе я постигну науку несравненно более глубокую, чем философия Гассенди*; ее я изучал тогда по его рекомендации вместо осмеянного им учения Аристотеля. Сенатор дал мне несколько советов, которым я должен был следовать на этих собраниях. Он дозволил мне говорить лишь в том случае, если нужно ответить на прямой вопрос, и ни при каких обстоятельствах не высказывать своего мнения, поскольку в моем возрасте его вообще не должно иметь.

Я получил письмо от графини де Мон-Реаль, которая

приглашала меня приехать к ней в имение Пазеан.

Отправившись туда на Пасху, я нашел там немногочисленное общество, состоящее из старшего в семье графа Даниэля, женатого на некой графине Гоцци, молодого откупщика, только что сочетавшегося браком с крестницей старой графини, и его свояченицы.

Совершенно незнакомая мне доселе фигура новобрачной вызвала у меня живейший интерес, и хотя сестра ее была много красивее, я оказался более чувствителен к неопытности, видя здесь больше чести в достижении цели.

Сия новобрачная лет восемнадцати или двадцати обращала на себя внимание всего общества своими притворными манерами. Чрезмерно говорливая, державшая в памяти множество изречений, которые часто вставляла совершенно не к месту, набожная и настолько влюбленная в своего мужа, что даже не умела скрыть огорчения, когда он слишком красноречиво посматривал на ее сестру, она и во многом другом казалась крайне комичной. Муж ее был вертопрахом, который, может быть, и любил молодую жену, но, подчиняясь требованиям хорошего тона, считал себя обязанным выказывать безразличие, да к тому же из тщеславия забавлялся тем, что давал ей поводы для ревности.

В свою очередь и она, боясь прослыть дурочкой, старалась изображать равнодушие. Хорошее общество стесняло ее как раз потому, что ей хотелось казаться созданной для него.

Когда я нес вздор, она слушала меня внимательно и смеялась в самых неподходящих местах. Ее неловкости и странности возбуждали во мне желание более близкого знакомства, и я принялся волочиться за нею.

Все мои усилия, знаки внимания и даже ужимки — все открыто указывало окружающим на мои намерения. Донесли мужу, но он лишь острил по этому поводу и даже подзадоривал меня. Через пять или шесть дней моих усиленных ухаживаний, прогуливаясь как-то со мною по саду, она бесцеремонно объявила о причинах своей обеспокоенности поведением мужа. Я в дружеском тоне отвечал, что самый подходящий способ заставить его исправиться — это не замечать его внимания к свояченице и прикинуться влюбленной в меня. Стремясь с большей убедительностью склонить ее к моему предложению, я присовокупил, что сделать это будет весьма трудно и нужно обладать немалым умом, дабы сыграть столь двусмысленную роль. Я коснулся чувствительного места, и она уверила меня, что устроит все наилучшим образом, хотя на самом деле и в этом выказала свойственную ей неловкость.

Когда мы оставались наедине в аллеях сада и нас никто не мог увидеть, я старался заставить ее играть условленную роль, но она всякий раз убегала и присоединялась к обществу, так что меня называли не иначе как неловким охотником. Улучив подходящую минуту, я упрекал ее, доказывая, что она играет на руку своему мужу. Однако на одиннадцатый или двенадцатый день, в самый разгар моих глубокомысленных рассуждений, она совершенно сбила меня с толку, заметив, что я как священник не могу не знать: всякая любовная связь — это смертный грех, что Бог все видит и она совсем не хочет навлечь на себя проклятие или признаться духовнику в прегрешении со служителем церкви. Мое возражение, что я не священник, она парировала вопросом, относятся ли мои намерения к числу греховных. Не имея храбрости отрицать это, я решил прекратить попытки.

Ко мне вернулся покой, и мое новое поведение было незамедлительно отмечено за столом. Любивший пошутить старый граф во всеуслышание заявил, что, по всей видимости, дело закончилось. Однако фортуна все-таки услужила мне, и вот какую развязку получила вся эта интрига.

В праздник Вознесения общество отправилось с визитом к знаменитости итальянского Парнаса синьоре Бергали. Вечером, когда мы собирались возвращаться в Пазеан, моя очаровательная откупщица пожелала ехать в четырехместном экипаже, где уже сидели ее муж и сестра, в то время как я был один в превосходной коляске. К моим громким протестам по поводу такого знака недоверия присоединилось все общество, убеждавшее ее не делать мне такого афронта. Наконец она уступила, и я велел вознице ехать самой короткой дорогой. Он отделился от остальных и направился через лес. Когда мы отъезжали, небо было безоблачно, однако менее чем через полчаса, как это нередко случается в южных странах, собралась гроза.

— О Боже! — воскликнула моя кокетка. — Мы попадем в грозу!

— Да, — отвечал я, — хотя у коляски есть верх, дождь испортит ваше красивое платье.

— Мне не жаль платья, я боюсь грома.

— Заткните уши.

— А молния?

— Возница, отвезите нас куда-нибудь под крышу.

— Ближайшие дома не ближе полулье отсюда, сударь, и пока мы доберемся, гроза кончится.

Он спокойно продолжал ехать своей дорогой, и вот уже засверкали одна за другой молнии, а девушка стала сильно

дрожать. Полился обильный дождь. Я снял свой плащ, чтобы закрыть нас спереди, и в тот же миг, ослепленные вспышкой, мы увидели, как в ста шагах ударила молния. Лошади стали на дыбы, а мою бедную спутницу охватили спазматические конвульсии. Она бросилась ко мне и крепко прижалась; я же наклонился, чтобы поправить сбившийся плащ, и, воспользовавшись благоприятным случаем, приподнял ее платье. Она пыталась сопротивляться, но в эту минуту раздался новый удар грома, заставивший ее оцепенеть. Стараясь укрыть нас обоих плащом, я привлек ее к себе, и, благодаря этому движению, совпавшему с толчком экипажа, она упала на меня в самом благоприятном положении. Не теряя времени и сделав вид, что хочу поправить часы в кармане панталон, я приготовился к штурму. Поняв, что если не помешать мне сразу же, то к защите не останется никаких средств, она сделала усилие, но, сдерживая ее, я сказал, что если она не изобразит обморок, возница обернется и все увидит. Я предоставил ей удовольствие называть меня нечестивцем, подлецом и всеми именами, какие только она могла вспомнить. Победа была полной и не оставляла желать ничего лучшего. Дождь продолжал лить потоками, в лицо дул крепкий ветер. Вынужденная оставаться в том же положении, она стала жаловаться, что я обесчещу ее, так как возница может все заметить.

— Я слежу за ним, он и не думает оборачиваться. Кроме того, мы закрыты плащом. Будьте благоразумны и изобразите обморок, я все равно не отпущу вас.

Она, по всей видимости, смирилась и спросила, неужели меня не страшит молния. Успокоенная ответом и чувствуя мой экстаз, она осведомилась, кончил ли я. С улыбкой я возразил, что еще нет и прошу ее согласия до самого конца грозы.

— Соглашайтесь, или я сброшу плащ.

— Ужасный человек, из-за вас я буду несчастна до конца своих дней! Но теперь-то вы удовлетворены?

— Нет.

— Что же еще?

— Тысячу поцелуев.

— Почему я так несчастна?!

— Скажите, что прощаете меня, и признайтесь, вам было приятно со мной?

— Вы сами знаете. Я вас прощаю.

Тогда я возвратил ей свободу, однако позволив себе при этом некоторые вольности.

— Я хочу слышать, что вы любите меня.

— Нет, вы безбожник, и вас ждет ад.

Наконец природа успокоилась. Целуя ей руки, я сказал, что возница ничего не видел и она может не беспокоиться, а кроме того, я излечил ее от страха перед грозой. Она отвечала, что, во всяком случае, до сих пор ни одна женщина не излечивалась подобным способом.

— За тысячу лет это должно было случиться миллионы раз. Даже более. Садясь в коляску, я на то и рассчитывал, ведь у меня не оставалось никаких других средств добиться вас. Не огорчайтесь, ни одна боязливая женщина не смогла бы на вашем месте сопротивляться.

— Конечно, но теперь я буду ездить только с мужем.

— И поступите весьма безрассудно, ведь он не догадается успокоить вас таким же лекарством.

— Это справедливо, с вами узнаешь много необычного, но все-таки мы больше не будем ездить наедине.

Беседуя таким манером, мы приехали в Пазеан на час раньше остальных. Моя красавица сразу же сбежала и заперлась в своей комнате, а я тем временем рылся в кошельке, чтобы найти экю для возницы, который стоял, улыбаясь.

— Чему ты смеешься? — спросил я его.

— Вы сами знаете.

— Вот тебе дукат, и смотри не болтай.

За ужином только и говорили о грозе, и откупщик, знавший боязливость своей жены, сказал, что теперь я уж, конечно, никогда не соглашусь ехать вместе с нею. «А я и тем более, — поспешила добавить кокетка. — Он безбожник, который отпускает шуточки, даже когда гремит гром».

Эта женщина с такой ловкостью избегала меня, что я не имел более случая остаться с ней наедине хотя бы на минуту.

Возвратившись в Венецию, я нашел свою добрую бабку пораженной болезнью и поэтому был вынужден прервать все свои обычные занятия, так как слишком любил ее и боялся упустить малейшую возможность позаботиться о ней. Она не могла оставить мне никакого наследства, ибо отдала уже все, что имела когда-то. И тем не менее после ее смерти мне пришлось переменить свой образ жизни.

По прошествии месяца я получил от матушки письмо, в котором сообщалось, что, не предполагая возвращаться в Венецию, она решилась оставить арендуемый ею дом и уведомила о своих намерениях аббата Гримани, советам которого я и в будущем должен неукоснительно следовать. Ему же поручалось продать всю обстановку и поместить меня, равно как и моих братьев и сестру, в хороший пансион. Я почел своим долгом явиться к синьору Гримани, дабы уверить его в своей полной

готовности исполнить любое приказание.

За дом было уплачено до конца года, но, зная, что у меня скоро не будет своего жилища, а вся мебель пойдет с молотка, я решил не стеснять себя излишней экономией. Постельное белье, а также фарфор и ковры, я уже продал и теперь набросился на зеркала, кровати и прочее. Я нисколько не сомневался в том, что это будет расценено самым неблагоприятным для меня образом, но дело касалось наследства моего отца, на которое мать не имела никаких прав. А что до моих братьев, то у нас в будущем оставалось достаточно времени для объяснений.

Через четыре месяца от матушки пришло второе письмо. Оно было помечено варшавским штемпелем и содержало в себе еще один конверт. Вот что я прочел:

«Здесь, мой дорогой сын, я свела знакомство с одним ученым францисканцем из Калабрии, выдающиеся качества которого заставляют меня вспоминать о вас всякий раз, когда я имею честь принимать его. Еще год назад я говорила ему, что у меня есть сын, предназначающий себя для церкви, но моих средств для этого недостаточно. Он ответствовал, что таковой сын станет и его собственным, если я смогу добыть для него у королевы место епископа.

Исполненная веры в Божественное Провидение, я бросилась к ногам ее величества, королева соблаговолила написать своей дочери, королеве Неаполитанской, и сей достойный прелат был назначен папой на епископство в Марторано. Как и обещано, он возьмет вас, мой сын, с собою, когда будет проезжать через Венецию в середине будущего года. Он пишет вам об этом сам в приложенном мною письме. Незамедлительно ответьте ему и адресуйте ваше письмо мне. Он поможет вам достичь самых высших церковных степеней, и вообразите себе мое удовольствие, когда через двадцать или тридцать лет я буду иметь счастие видеть вас не меньше чем епископом! А в ожидании его прибытия обо всем позаботится аббат Гримани. Благословляю вас».

Письмо епископа было написано на латыни и повторяло то, о чем сообщала матушка, с добавлением, что он задержится в Венеции не долее трех дней.

Эти два послания вскружили мне голову. Прощай, Венеция! Уверенный в том, что впереди меня ждет блестящее будущее, я не испытывал ни малейших сожалений по поводу покидаемого отечества. Надобно отбросить суету, говорил я себе, и отдаться великому и основательному. Синьор Гримани расхваливал такой выбор и заверял, что не пожалеет сил, дабы найти для меня хороший пансион, где я мог бы дожидаться прибытия епископа.

Синьор Малипьеро также полагал, что в Венеции, ведя

рассеянный образ жизни, я буду лишь попусту терять драгоценное время. Тогда же он дал мне совет, который я запомнил на всю жизнь. «Знаменитое правило стоиков “Доверься Богу”, — сказал он, — можно с абсолютной точностью истолковать следующим образом: отдавайся тому, что приготовила для тебя судьба, если не испытываешь к сему неодолимого отвращения».

В этом и состояла наука синьора Малипьеро, ибо он был истинным ученым, хоть и штудировал лишь книгу нравственной природы человека. Впрочем, скоро случилось одно происшествие, показавшее несовершенство всего сущего и стоившее мне его расположения.

Сенатор почитал себя великим знатоком физиогномики, и когда ему казалось, что он видит на лице юноши знаки особого предназначения, то он полагал своим долгом наставить избранника на путь истинный.

В мое время при нем состояло трое любимцев, для образования которых он делал все возможное. Кроме меня, это были: уже известная читателю Тереза Имер и дочь гондольера Гардела, лицо которой выделялось поразительной красотой. Проницательный старик учил ее танцам и любил говорить по этому поводу, что шар никогда не попадет в лузу, если его не подтолкнуть. Впоследствии сия юная особа под именем Августы блистала при штутгартском дворе и в 1757 году была первой любовницей герцога Вюртембергского. Последний раз я видел ее в Вене, где она и умерла два года назад. Муж ее, Микель Агата, вскоре после этого отравился.

Однажды сенатор пригласил нас всех троих к обеду и по окончании трапезы пошел, как обычно, отдохнуть. Маленькая Гардела, которая была тремя годами младше меня, отправилась на урок, и мы остались с Терезой одни. Я был очень доволен этим, хотя до сих пор еще не пытался любезничать с нею. Мы сидели близко друг от друга, спиной к дверям, и, не помню уж по какому поводу, нам понадобилось удостовериться в несходстве нашего телосложения. Однако же в самый интересный момент сильнейший удар тростью, а за ним и второй, принудил нас оставить сие занятие недоконченным, а я, во избежание дальнейших неприятностей, обратился в бегство, бросив плащ и шляпу. Через четверть часа оба эти предмета были принесены престарелой экономкой сенатора вместе с запиской, в которой мне запрещалось и близко подходить к дворцу его превосходительства. Я тут же написал ответ: «Вы ударили меня под влиянием раздражения и поэтому не можете сказать, что преподали мне урок. Я смогу простить вас, лишь забыв, что вы умный человек, а забыть это невозможно».

Я думаю, вельможа был прав в своем возмущении представившимся ему зрелищем, но поступил он весьма неосторожно, так как слуги легко догадались о причине моего изгнания и весь город смеялся над этой историей. Конечно, он не осмелился ни в чем упрекнуть Терезу, однако она не пыталась просить о моем помиловании.

Синьор Гримани объявил мне о прибытии епископа, который остановился в монастыре францисканцев Сан-Франческо-де-Паоло. Аббат решил сам представить меня как своего любимого воспитанника, словно кроме него обо мне некому было позаботиться.

Я увидел перед собой красивого монаха с епископским крестом, доставшимся ему в тридцать четыре года по милости Бога, Святейшего Престола и моей матушки. Стоя на коленях, я получил благословение и поцеловал его руку. После этого он обнял меня и назвал на латыни своим дорогим сыном.

В дальнейшем мы говорили только на этом языке, и я сначала подумал, что, будучи калабрийцем, он стыдится говорить по-итальянски. Однако же, обратившись к аббату Гримани, епископ опроверг мои подозрения. Он сказал, что не может сейчас взять меня и я должен ехать в Рим один, а его адрес получу в Анконе от францисканского монаха Лазари, который также снабдит меня деньгами для путешествия. «Из Рима мы уже вместе поедем через Неаполь в Марторано, — продолжал епископ. — Завтра приходите ко мне пораньше, и после мессы мы разделим утреннюю трапезу».

На следующий день я пришел к епископу с восходом солнца. После мессы и шоколада он три часа подряд наставлял меня в катехизисе. Я понял, что совсем не понравился ему, но сам был им доволен, ибо надеялся, что он откроет мне путь к высшим церковным степеням.

По отъезде доброго епископа синьор Гримани отдал мне оставленное им письмо, которое я должен был вручить в Анконе отцу Лазари. Синьор Гримани также сказал, что отправит меня с венецианским послом, каковой отбывает в ближайшее время, и поэтому я должен собраться как можно скорее.

Накануне отъезда синьор Гримани отсчитал мне десять цехинов, которых, по его мнению, было вполне достаточно, чтобы прожить положенное для карантина время в Анконе, после чего вообще не предполагалась какая-либо надобность в деньгах. Впрочем, ему было неизвестно истинное состояние моего кошелька, а лежавшие в нем сорок новеньких цехинов давали мне некоторую уверенность. Я уехал, исполненный радости и не чувствуя никаких сожалений.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КАЛАБРИИ

Свита посла, называвшаяся великим посольством, показалась мне совсем незначительной. Она состояла из дворецкого, миланца Кортичелли; аббата, исправлявшего должность секретаря, потому что сам посол не умел писать; старухи, называвшейся экономкой; повара с его некрасивой женой и восьми или десяти слуг.В полдень мы прибыли в Кьоджу. Как только все перешли на берег, я вежливо спросил у миланца, где мне устраиваться на ночлег, и получил ответ: «Где угодно, только предупредите этого человека, чтобы он известил вас об отплытии тартаны. Мое дело доставить вашу милость в Анкону, а пока можете развлекаться, как вам заблагорассудится».

Человек, на которого он указал мне, был шкипером тартаны, и я спросил у него, где здесь можно остановиться. «У меня, — отвечал он, — если не побрезгуете спать в одной большой кровати с господином поваром, жена которого ночует на тартане». Мне не оставалось ничего другого, как согласиться, и один из матросов, взяв мой сундучок, отвел меня в дом этого честного человека. Пожитки мои пришлось поместить под кроватью, ибо последняя занимала собой всю комнату. Посмеявшись над этим обстоятельством, я отправился обедать в трактир, а затем пошел осматривать город. Кьоджа — это венецианский порт, расположенный на полуострове и населенный десятью тысячами жителей, главным образом моряками, торговцами, рыбаками и таможенниками, состоящими на службе Республики.

Заметив кофейню, я зашел в нее и сразу оказался в объятиях молодого доктора права, с которым учился в Падуе. Он тут же представил меня аптекарю, державшему по соседству свое заведение, и сказал, что именно там собирается все образованное общество. Через несколько минут вошел знакомый мне по Венеции одноглазый монах-якобит и рассыпался в самых учтивых приветствиях. Он заявил, что я приехал в самое удачное время, так как завтра состоится заседание Академии макаронических наук*. Каждый из ее членов прочтет свое сочинение, а затем все отправятся на пикник. Он пригласил меня почтить это собрание своим присутствием.

Молодой доктор представил меня своему семейству, и его родители, люди весьма состоятельные, оказали мне самый любезный прием. Одна из его сестер была очень мила, но вторая, уже принявшая обет, показалась мне настоящим чудом. Я мог бы с приятностью провести все свое время в Кьодже среди

очаровательного семейства, но судьбою мне было предопределено встретиться в этом городе с одними неприятностями. Доктор предостерег меня, что якобит Корсини очень дурной человек и лучше всего избегать его общества. Я искренне поблагодарил за совет, но не воспользовался им вследствие своего легкомыслия. Ветреность и уступчивость характера внушили мне безумную мысль, что, напротив, сей монах послужит к вящему моему увеселению.

На третий день я повстречался с этим бездельником, и он отвел меня в дурной дом, куда я мог бы попасть и без его рекомендаций. Дабы никто не усомнился в моей мужественности, я оказал внимание одной несчастной, даже внешность которой должна была обратить меня в бегство. Затем он повел меня в трактир, где к нам присоединились четверо проходимцев. После ужина один из них разложил банк фараона, и меня пригласили принять участие. Из ложного стыда я уступил и, проиграв четыре цехина, хотел было уйти, но мой приятель-якобит убедил меня рискнуть еще четырьмя вполовину с ним. Он составил банк, но проиграл. Я не желал продолжать, однако Корсини, прикинувшись опечаленным моей потерей, усиленно советовал мне самому составить банк на двадцать пять цехинов.

И этот банк был сорван. Надежда возвратить свои деньги заставила меня проиграться дочиста. Удрученный, я пошел домой и улегся рядом с поваром, который, проснувшись, обозвал меня развратником, с чем я не мог не согласиться.

Организм мой, измученный усталостью и заботами, нашел отдохновение в глубоком сне. Но в полдень опять явился мой палач и, разбудив меня, с торжествующим видом сообщил, что у нас за ужином будет один весьма состоятельный молодой человек, который, конечно, умеет лишь проигрывать, и я смогу возместить свои убытки.

— Но я остался совсем без денег, одолжите мне двадцать цехинов.

— Если я даю в долг, то всегда проигрываю. Вы можете подумать, что это суеверие, но опыт слишком часто доказывал мне обратное. Постарайтесь добыть денег в другом месте и приходите. До свидания.

Не решаясь рассказать о своем положении моему благоразумному другу, я разузнал про одного добропорядочного закладчика и опустошил свой сундучок. Составив опись вещей, он выдал мне тридцать цехинов с условием, что если через три дня деньги не будут возвращены, мое имущество перейдет к нему. Должен сознаться, это был честный человек — он уговорил меня оставить себе три рубашки, чулки и носовые платки, ибо я хотел

заложить все до последней нитки в надежде, что смогу отыграться.

Я поспешил присоединиться к честной компании, которая более всего опасалась моего отсутствия. За ужином о картах не было и речи. Все превозносили то блестящее будущее, которое ждет меня в Риме. Видя, что никто не собирается играть, я, подталкиваемый моим злым гением, потребовал реванша. Мне предложили держать банк, я согласился и проиграл все до последнего, а уходя, был принужден просить монаха заплатить за меня трактирщику.

Я был в отчаянии и, в довершение несчастий, почувствовал себя столь дурно, что лег в постель и, словно оглушенный, погрузился в сон, похожий скорее на обморок. Одиннадцать часов пробыл я в тяжком забытьи, и мой угнетенный дух отказывался принимать дневной свет — я смежал веки, призывая спасительного Морфея. Пробуждение страшило меня, ведь так или иначе надобно было на что-то решаться. Мысль о возвращении в Венецию даже не приходила мне в голову, и я скорее наложил бы на себя руки, чем признался во всем моему другу. Сама жизнь тяготила меня, и я смутно надеялся, что, может быть, умру от истощения, не поднимаясь с постели. И на самом деле, я не встал бы по собственной воле, если бы добряк Альбано, шкипер тартаны, явившийся предупредить об отплытии, не поставил меня на ноги, употребив к тому силу.

Смертный, избавившийся от нерешительности, каким бы способом это ни произошло, непременно испытывает облегчение. Мне показалось, что Альбано явился подать единственный в моем положении совет. Я поспешно оделся, завязал все свое имущество в платок и бегом отправился на тартану. Через час подняли якорь, а уже утром судно вошло в небольшой истрийский порт Орсару. Все сошли на берег, чтобы осмотреть город, не заслуживающий, впрочем, такого наименования.

Молодой францисканец, которого все называли братом Стефано, а шкипер — почитатель святого Франциска — взял из милости, подошел ко мне и спросил, не болен ли я.

— Отец мой, мне тяжко.

— Пойдемте со мной завтракать к одной из наших благочестивых женщин, и вам станет легче.

Вот уже тридцать шесть часов, как в мой желудок не попадало ни крошки, и к тому же за ночь его порядочно очистило бурное море. В довершение я безмерно страдал от своего любовного недуга, не говоря уже о том угнетенном состоянии, в котором пребывал мой дух. Да оно и не мудрено — ведь у меня не было ни обола! Я чувствовал себя настолько подавленным, что

даже не имел сил желать чего-нибудь, и потому последовал за францисканцем совершенно машинально.

В качестве представления он сказал хозяйке, что везет меня в Рим, где я приму обет святого Франциска. Такой обман показался мне ужасным святотатством, и в любом другом случае я бы не стерпел его. Добрая женщина накормила нас превосходной рыбой, которую мы запили восхитительным сухим рефоско. Пока мы завтракали, пришел какой-то священник и сказал, что мне нет надобности ночевать на тартане и я могу воспользоваться его постелью и обедом, в случае если на следующий день неблагоприятный ветер помешает нам отплыть. Я без колебаний согласился и, поблагодарив набожную хозяйку за еду, пошел с этим священником осмотреть город. Вечером он отвел меня к себе и угостил отменным ужином, приготовленным его экономкой, которая села за стол вместе с нами и показалась мне довольно привлекательной. Рефоско у священника было еще лучше и заставило меня забыть обо всех моих несчастьях. Я беседовал с ним уже не без веселости, и он захотел прочесть мне поэму собственного сочинения. Однако не в силах более держать глаза открытыми, я сказал, что охотно послушаю его на следующий день.

После десяти часов глубочайшего сна экономка, поджидавшая, когда я проснусь, принесла мне кофе. Она вновь показалась мне очаровательной, но, увы, состояние мое не позволило выразить это наилучшим образом.

Проникшись к гостеприимному хозяину искренним расположением и желая внимательно выслушать поэму, я изгнал печаль, и замечания мои по поводу стихов привели его в такой восторг, что он пожелал угостить меня еще и чтением своих идиллий. Дабы не показаться невежливым, я был вынужден с благодарностью принять и эту новую напасть. Мы провели вместе весь день. Экономка оказывала мне самые явные знаки внимания, и я убедился, что она, без сомнения, не осталась ко мне равнодушной. Для доброго священника день пронесся с быстротой молнии — благодаря красотам, обнаруженным мною в его стихах, откровенно говоря, более чем посредственных. Зато мне время показалось чрезвычайно медлительным, тем более что красноречивые взгляды экономки, несмотря на мое печальное состояние, заставляли нетерпеливо ожидать ночи. Таков уж мой темперамент: я отдаюсь наслаждению даже в тех обстоятельствах, когда, казалось бы, все должно повергать в отчаяние.

Наконец наступила вожделенная минута. Милая девица оказалась уступчива лишь до известного предела, и я, встретив сопротивление своему желанию отдать в полной мере должное ее

прелестям, с достоинством покинул поле сражения и безмятежно уснул. Однако же дело на этом не кончилось, так как утром, подавая мне кофе, она милым кокетством вновь возбудила во мне чувства и сказала, что не уступает мне лишь из страха быть пойманной. Для нас со священником день прошел как нельзя лучше, а вечером моя красавица, оставив всякие опасения, подарила мне два сладостных часа, несколько омраченных мерами предосторожности, которые приходится принимать в подобных обстоятельствах. На следующий день я покинул этот гостеприимный дом.

Брат Стефано до самого вечера развлекал меня разговорами, которые показывали его невежество и плутовство, прикрытые личиной простодушия. Он выложил передо мной все подаяния, полученные в Орсаре, — хлеб, вино, сыр, колбасы, варенья и шоколад. Многочисленные сумки, надетые на его святое одеяние, были полны провизии.

— А у вас есть деньги? — спросил я.

— Сохрани меня Бог! Наш славный орден прежде всего требует не прикасаться к деньгам. Да если бы я и решился брать их, то получил бы одну или две монетки, в то время как еды дают в десять раз больше. Поверьте мне, святой Франциск был человек великого ума.

Затем монах пригласил меня быть его сотрапезником и очень гордился, что я оказал ему эту честь.

Подойдя к Анконе, тартана всю ночь лавировала и пристала лишь утром. Этот порт был бы совсем плох, если бы не устроенная в нем плотина. Я заметил любопытное обстоятельство: в Адриатике на северном берегу много портов, а на противоположном — один или два. По всей вероятности, море отступает к востоку и через три или четыре столетия Венеция соединится с материком.

Нас поместили в старом лазарете и объявили, что будут держать на карантине двадцать восемь дней, потому что Венеция приняла два корабля из Мессины, где недавно свирепствовала чума. Я попросил комнату для себя и брата Стефано, чем он был безмерно доволен. Я также взял у евреев кровать, стол и несколько стульев, обязавшись уплатить за все по истечении карантина. А монаху моему нужна была лишь солома. Я думаю, догадайся он, что без него я умер бы от голода, ему не показалось бы столь лестным жить со мной. Один из матросов, надеявшийся на мою щедрость, пришел спросить, где мой сундучок. Я отвечал, что не имею представления, и он вместе со шкипером стал усердно разыскивать его. Альбано немало развеселил меня, когда начал извиняться, что забыл взять мой сундучок, и пообещал

непременно доставить его через три недели.

Францисканцу предстояло провести со мной все двадцать восемь дней, и он рассчитывал жить за мой счет, хотя на самом деле был послан Провидением для того, чтобы поддерживать мое существование. У него имелась провизия для нас обоих на восемь дней, однако надо было думать о том, что делать дальше.

Имея это в виду, я после ужина обрисовал ему мое положение в самых трогательных словах и сказал, что до Рима нуждаюсь абсолютно во всем, но зато там получу место секретаря по рассмотрению прошений. Вообразите себе мое удивление, когда олух расчувствовался, выслушав рассказ о моих злоключениях.

— Я согласен доставить вас в Рим. Но умеете ли вы писать?

— Вы смеетесь надо мной!

— Но вот я, которого вы видите перед собой, умею написать только свое имя. Правда, я могу писать обеими руками.

— Мне казалось, вы священник.

— Нет, я монах. Мне полагается служить мессу, и поэтому я должен уметь читать. Святой Франциск — а я всего лишь его недостойный сын — не знал букв вовсе и никогда не служил мессу. Но раз вы умеете писать, то завтра мы напишем от моего имени всем особам, которых я укажу, и, ручаюсь, нам будет чем полакомиться до конца карантина.

Назавтра он целый день продержал меня за письмами, я написал их восемь, ибо по преданию его ордена считалось, что монах, не получивший милостыню у семи дверей, должен с надеждой стучаться в восьмую, где его непременно одарят. Поскольку брат Стефано уже однажды проделал путешествие в Рим, ему были известны все дома сердобольных почитателей святого Франциска, равно как и настоятели всех богатых монастырей. Мне пришлось написать тем, кого он назвал, не упуская никакой продиктованной им лжи. Он также велел за него подписаться, поскольку если бы сделал это сам, подлог сразу стал бы заметен. По его настоянию я расцветил все письма, даже те, которые адресовались женщинам, латинскими изречениями. А поскольку в ответ на мои возражения монах грозился лишить меня еды, я и решил не противиться его желаниям. Он велел написать настоятелю иезуитов, что не хочет обращаться к капуцинам — истинным безбожникам, из-за чего и сам святой Франциск не мог терпеть их. Я напрасно говорил ему, что во времена этого святого не было ни капуцинов, ни францисканцев, — он лишь называл меня невеждой. Я был уверен, что его примут за сумасшедшего и ничего не пришлют, но ошибся. Провизия явилась в неимоверном изобилии, и каждый день мы получали более, чем нужно на шесть человек. Все оставшееся мы отдавали

нашему сторожу, который имел многочисленную семью.

Наконец явился приор и объявил, что мы свободны.

Я договорился с братом Стефано встретиться на бирже, а сам пошел с евреем, которому должен был за пользование мебелью, в монастырь францисканцев: там отец Лазари дал мне десять цехинов и римский адрес моего епископа.

Заплатив еврею, я отправился в трактир и скудно пообедал, но, когда выходил оттуда, на свое несчастье повстречал шкипера Альбано, который обругал меня самыми последними словами за мой обман с сундучком. Мне удалось смягчить его рассказом о своих злоключениях и распиской в том, что не имею никаких претензий. Затем я купил пару башмаков и редингот, после чего встретился со Стефано и объявил ему о своем желании поклониться Лоретской Богоматери. Я обещал ждать его там три дня, чтобы вместе идти в Рим. Он отвечал, что не хочет проходить через Лорето, а я еще пожалею о своем пренебрежении милостями святого Франциска. Тем не менее на следующий день я отправился в путь, находясь в совершенном здравии.

Я пришел в святой город уставшим до изнеможения, поскольку впервые в жизни проделал пешком пятнадцать миль по неимоверной жаре. Пил я одну лишь воду, так как старое вино, которое употребляют в этой местности, жгло мне внутренности. Должен заметить, что, несмотря на все мои страдания, я не был похож на бродягу.

На второй день я причастился в Святом доме Лоретского собора, а третий употребил на то, чтобы рассмотреть все наружные украшения этого дивного святилища. Следующим утром, с самого раннего часа, я вновь пустился в путь, истратив пока лишь три паоло на парикмахера.

Пройдя полдороги до Мачерато, я нагнал брата Стефано, который шел с величайшей неторопливостью. Он очень обрадовался мне и рассказал, что отправился из Анконы на два часа позднее меня и делает в день только по три мили, нимало не смущаясь тем, что путешествие, которое даже пешком легко совершить за неделю, займет у него два месяца. «Я хочу, — объяснил он, — прийти в Рим свежим и здоровым. Мне незачем спешить, и если вы расположены путешествовать вместе со мной, святой Франциск не преминет позаботиться о нас обоих».

Этот бездельник был мужчиной лет тридцати, с рыжими волосами, крепкого телосложения — истинный крестьянин, который сделался монахом единственно ради того, чтобы жить в праздности. Я отвечал ему, что, имея спешное дело, не могу составить ему компанию. «Я готов пройти сегодня вдвое больше, — заявил он на это, — если вы согласитесь взять отягощающий

меня плащ». Предложение показалось мне забавным, я надел его плащ, а он — мой рединготт. После такого переодевания мы являли собой столь комическое зрелище, что смешили всех, встречавшихся на дороге. Его плащ тянул не менее поклажи мула. В нем была дюжина карманов, и все полные, да еще пристежная сумка сзади, которую он называл «батикуло»: она содержала еды вдвое больше, чем остальные карманы, вместе взятые. Хлеб, вино, мясо, свежее и соленое, цыплята, яйца, сыр, ветчина, колбасы — всем этим можно было жить не менее двух недель.

Когда я рассказал ему, как меня принимали в Лорето, он ответил, что если бы я попросил у монсеньора Карафы письмо во все приюты до Рима, то везде было бы так же.

— Но все приюты, — добавил он, — прокляты святым Франциском, потому что там не принимают нищенствующих монахов, да они и бесполезны, так как слишком далеко отстоят друг от друга. Для нас лучше дома почитателей нашего ордена.

— А почему вы не останавливаетесь в своих монастырях?

— Не такой уж я дурак. Во-первых, меня не примут без отпускного свидетельства, которое они всегда требуют. Я даже рискую попасть в тюрьму, ведь это же самые отпетые негодяи. А во-вторых, там не так удобно, как у наших благодетелей.

На мой вопрос, почему у него нет отпускного билета, он рассказал, как угодил в тюрьму и бежал оттуда, и вся его история была наполнена ложью и нелепицами. Он являл собой дурака, который почитает всех остальных еще глупее себя. Однако же в его дурости было какое-то тонкое лукавство. Не желая казаться ханжой, он впадал в откровенное бесстыдство и ради того, чтобы рассмешить своих слушателей, позволял себе отвратительные непристойности. Имея некий изъян темперамента, он был совершенно равнодушен к прекрасному полу, однако хотел, чтобы это почиталось в нем как добродетель воздержания. Касательно сего предмета все представлялось ему достойным насмешки, и когда он входил хотя бы в легкое опьянение, своими непотребными вопросами вгонял всех в краску, а сам лишь пуще смеялся.

За сто шагов от дома очередного благотворителя брат Стефано взял у меня свой тяжелый плащ, а войдя, благословил всех, и каждый поцеловал у него руку. Хозяйка просила отслужить мессу, и монах благосклонно согласился. Когда же, улучив удобную минуту, я шепнул ему на ухо: «Разве вы забыли, что мы сегодня завтракали?», — он сухо ответил мне: «Это не ваше дело».

Я не решился возражать, однако, участвуя в мессе, был немало удивлен, когда понял, что он не знает обряда. Но это

было еще не самое поразительное. Отслужив кое-как мессу, он принялся исповедовать весь дом, и каждый получил отпущение грехов, за исключением хозяйской дочери, очаровательной девицы двенадцати-тринадцати лет. Он при всех разбранил ее и пригрозил ей адом. Пристыженная бедняжка залилась слезами. Я пожалел ее и не мог удержаться, чтобы во всеуслышание не назвать Стефано лицемером и мучителем молодой особы. На мой вопрос, как можно было не отпустить ей грехи, он вполне хладнокровно отвечал, что не может нарушить тайну исповеди. Я не захотел даже есть, твердо решившись в скором времени отделаться от этого мошенника. Перед выходом мне пришлось взять один паоло за отслуженную им мессу, то есть исполнить жалкую роль его казначея.

Как только мы оказались на большой дороге, я сказал ему, что ухожу один, так как с ним недолго попасть и на галеры. В запальчивости я назвал его подлецом и невеждой. Он возразил мне, что это лучше, чем нищий, и получил за это пощечину, на которую ответил ударом палки. Однако же я вмиг обезоружил его, а сам поспешил в сторону Мачераты. Через четверть часа ехавший налегке в Толентино возчик предложил подвезти меня за два паоло, на что я с охотой согласился. Истратив шесть паоло, можно было доехать и до Фолиньо, однако бережливость заставила меня отказаться от этого плана. Я превосходно себя чувствовал и подумал, что с легкостью дойду до Вальчимарры пешком. Но пришел туда лишь через пять часов, совершенно обессилев. Несмотря на крепость моего организма, пяти часов ходьбы было достаточно, чтобы свалить меня с ног, так как в детстве я никогда не проходил пешком даже одного лье.

Утром я встал отдохнувшим и был готов отправиться в путь. Но здесь новая напасть — я вспомнил, что оставил свой кошелек с семью цехинами на столе в толентинском трактире. Вообразите мое положение! Не будучи уверен, что получу деньги обратно, я не решился возвратиться. В кошельке осталось все мое состояние, за исключением нескольких медных монеток, завалявшихся в кармане. Я заплатил то немногое, что с меня причиталось, и с отчаянием в сердце пустился в путь, направляясь в Червало. Я был уже не далее одного лье от этого места, когда, пытаясь перепрыгнуть канаву, растянул себе ногу и был вынужден сесть у обочины дороги, ибо мог надеяться лишь на помощь какого-либо путника.

По прошествии получаса появился крестьянин с ослом и за один паоло доставил меня в Червало. Мы приехали к человеку самого злодейского вида, и тот, взяв вперед два паоло, пустил меня в дом. Я просил лекаря, но получил ответ, что он будет

лишь на следующий день. Мне дали отвратительный ужин, после чего я лег в постель, которая могла напугать самого отчаянного храбреца. Я надеялся подкрепиться сном, но именно здесь мой злой гений приготовил для меня адские страдания.

Через некоторое время явились трое, с виду заправские бандиты, вооруженные карабинами. Они говорили на каком-то непонятном жаргоне и, не обращая на меня ни малейшего внимания, громко переругивались. Изрядно выпив, они орали до полуночи песни и только перед рассветом улеглись на охапках соломы. К моему величайшему удивлению, совершенно пьяный хозяин стал укладываться вместе со мной. Чувствуя непреодолимое отвращение, я просил его уйти, но он, изрыгая ужасающие богохульства, отвечал, что весь ад не может помешать ему спать в собственной постели. Мне ничего не оставалось, как отодвинуться и дать ему место, а в ответ на мое восклицание: «Боже! К кому я попал?» — я услышал, что нахожусь в доме самого честного из полицейских приставов папы римского.

Едва улегшись, этот омерзительный тип вынудил меня защищаться, и сильнейшим ударом я свалил его с кровати. Однако же он поднялся и возобновил свои наглые попытки. Чувствуя, что не смогу от него отбиться, я встал и с трудом добрался до стула, на коем был вынужден провести остаток ночи. С рассветом ночные гости подняли моего мучителя и, опохмелившись и накричавшись вдоволь, взяли свои карабины и ушли.

Я же, оставшись в одиночестве, провел еще один мучительный час, понапрасну призывая кого-нибудь. Наконец вошел маленький мальчик и, получив монетку, пошел за лекарем. Последний, осмотрев меня, сказал, что для выздоровления потребуется три-четыре дня. Он советовал перебраться в гостиницу, и я охотно согласился. Там я сразу же лег в постель. Положение мое было таково, что мысль о выздоровлении внушала мне лишь страх. Чтобы заплатить хозяину, у меня было только одно средство — продать свой рединготт. Под гнетом обстоятельств пришлось признаться самому себе, что если бы я не вступился за обиженную девицу, то не попал бы в столь печальное положение и, следовательно, моя горячность была совершенно неуместна. Если бы я мог помириться с францисканцем... если бы то и если бы это... словом, все «если», разрывающие душу несчастного, который прикидывает в своей голове так и эдак и не может найти никакого выхода. Однако я должен признаться, что размышления, вызванные несчастьем, для молодого человека оказываются не без пользы — они приучают его думать.

Утром четвертого дня, чувствуя себя, как и предсказывал лекарь, способным передвигаться, я решил просить этого честного человека продать мой редингот. Прискорбная необходимость — так как приближалось время дождей. Но я был должен пятнадцать паоло хозяину и четыре — лекарю.

Как раз в ту минуту, когда я договаривался с лекарем о пагубной для меня продаже, в гостиницу вошел брат Стефано и сразу принялся хохотать как сумасшедший.

Я был поражен словно громом и просил лекаря оставить меня наедине с монахом.

Объясните мне, любезный читатель, как в подобных обстоятельствах не впасть в суеверие! Я ни минуты не сомневался в том, что брат Стефано выручит меня из беды,

и кем бы он ни был послан, лучше всего покориться, поскольку судьба избрала его, дабы сопроводить меня в Рим.

— Тише ходишь — здоровее будешь, — изрек монах, как только мы остались одни. Ему понадобилось пять дней на ту дорогу, которую я проделал за один, но он чувствовал себя лучше прежнего и не подвергся никаким неприятностям. По дороге он узнал, что секретарь венецианского посольства лежит больной в гостинице.

— Я захотел навестить вас, а теперь, поскольку вы уже в добром здравии, мы можем вместе двинуться в Рим. Чтобы сделать вам приятное, я согласен проходить в день по шесть миль. Забудем все и скорее в путь.

— Это невозможно, я потерял кошелек и должен двадцать паоло.

— Мы найдем их во имя святого Франциска.

Он возвратился через час — и с кем бы вы думали? — с моим презренным приставом, который тут же сказал, что, если бы я объявил о своей должности, он непременно оставил бы меня в своем доме. «Я дам тебе сорок паоло, если ты устроишь мне покровительство твоего посланника. И ты должен написать в этом расписку».

Все решилось за четверть часа — я получил деньги, расплатился с долгами, и мы со Стефано вышли.

Был лишь час пополудни, когда, приметив недалеко у дороги жалкий домишко, монах сказал:

— До Коллефьорито еще очень далеко, нам лучше всего заночевать здесь.

Я напрасно пытался убедить его, что тут будет совсем неудобно; все мои протесты были бесполезны, и пришлось уступить его желанию. В доме мы нашли дряхлого и тощего старика, валявшегося на куче тряпья, двух отвратительных

женщин лет тридцати-сорока, трех совершенно голых детей, корову и гнусного пса, ни на минуту не переставшего лаять. Корыстный монах не только не подал им милостыню при виде такой очевидной нищеты, но, напротив, во имя святого Франциска напросился ужинать. Старик велел женщинам сварить курицу и достать бутылку, которую он хранил уже двадцать лет, но, едва произнеся это, закашлялся столь сильно, что чуть не испустил дух. Монах подошел к нему и обещал скорое исцеление от святого Франциска. Из сострадания к их бедности я хотел идти в Коллефьорито один и дожидаться там брата Стефано, но женщины уговорили меня остаться. Через четыре часа принесли курицу, которая не поддалась бы и зубам волка, а в принесенной бутылке оказался чистый уксус. Потеряв терпение, я схватил пресловутый мешок моего монаха и вынул оттуда все нужное для доброго ужина.

Мы все поели с отменным аппетитом, после чего нам устроили из свежей соломы две просторные постели, и мы улеглись. Не прошло и пяти минут, как монах закричал, что к нему легла женщина, и в тот же миг я почувствовал объятия другой. Хотя я отталкивал ее, бесстыдница не отступалась, и пришлось подняться. Тут на меня бросилась собака и загнала обратно на солому. Тем временем монах с криками и руганью отбивался, а пес яростно лаял, заглушая надрывный кашель старика. Защищенный тяжелой одеждой брат Стефано наконец вырвался из объятий мегеры, схватил свою большую палку и принялся колотить ею направо и налево. Одна из женщин закричала, после чего внезапно воцарилась тишина. Собака, которую он, несомненно, прикончил, уже не лаяла, не кашлял и старик. Дети спали, а женщины, испугавшись любезностей монаха, попрятались по углам. Остаток ночи мы провели в полном спокойствии.

Как только рассвело, я поднялся и Стефано последовал моему примеру. Осмотревшись вокруг, мы с крайним удивлением обнаружили, что женщины исчезли, а старик лежит, не подавая признаков жизни, с синяком на лбу. Я указал на него францисканцу и выразил опасение, уж не убил ли он его. «Вполне может быть, — отвечал монах, — но сей грех был непреднамеренным». Затем он взял свой батикуло и страшно рассердился, найдя его совершенно пустым. Зато я был просто счастлив, ибо боялся, что женщины отправились за помощью, чтобы схватить нас; исчезновение же нашей провизии успокоило меня — несомненно, они просто спрятались, чтобы не отвечать за кражу. Я с живостью описал монаху всю опасность нашего положения, и мне удалось внушить ему достаточно страха, чтобы

заставить убраться из этого места. Пройдя небольшое расстояние, мы повстречали возницу, направлявшегося в Фолиньо. Я убедил Стефано воспользоваться оказией, чтобы отъехать как можно дальше. Добравшись до селения, мы позавтракали и без затруднений нашли крестьянина, который за сущую безделицу довез нас в Пизиньяно. Там один благочестивый человек предложил нам ночлег, и я спал, уже совершенно не опасаясь быть схваченным.

На следующий день мы рано пришли в Сполето, где у брата Стефано было два доброжелателя, и, чтобы не давать ни одному из них причины для ревности, он осчастливил обоих. У первого нас по-княжески потчевали обедом, а ко второму мы отправились на ночлег и ужин. Этот человек был богатым виноторговцем и отцом многочисленного семейства. Он угостил нас восхитительным ужином, в котором ничто не оставляло бы желать лучшего, если бы францисканец, уже зарядившийся во время обеда, не опьянел окончательно. Придя в такое состояние, он решил получше угодить хозяину, выдумывая всякие пакости о человеке, у которого мы обедали. Когда монах дошел до того, что назвал его вором, а его вина — подкрашенной водой, я опять не стерпел и сказал ему, что сам он первейший враль и мерзавец. Хозяин с хозяйкой успокаивали меня, приговаривая: «Ну как же нам не знать своего соседа!», но монах швырнул в меня салфеткой, и его пришлось увести спать, заперев на ключ в отдельной комнате.

Утром я встал пораньше и почел за лучшее уйти одному, но в это время явился проспавшийся Стефано и стал уговаривать меня не портить добрые отношения и не сердиться друг на друга. Оставалось лишь покориться судьбе, и мы отправились в путь. В Соме хозяйка таверны, женщина редкой красоты, угостила нас отменным обедом с восхитительным кипрским вином, которое привозили ей венецианские почтальоны в обмен на превосходные трюфели, которые они с выгодой продавали в Венеции. Я оставил у этой женщины частицу своего сердца.

Трудно описать мое негодование, когда в двух милях от Терни проклятый монах показал мне небольшой мешок с трюфелями, которые он в благодарность за гостеприимство украл у нашей очаровательной хозяйки. Он обобрал ее не менее чем на два цехина. Кипя гневом, я вырвал у него мешок и заявил, что полагаю своим долгом непременно возвратить похищенное. Однако негодяй отнюдь не желал расставаться со своей добычей. Он бросился на меня, и началась настоящая потасовка. Фортуна не замедлила сделать свой выбор — монах замахнулся палкой, но я успел опрокинуть его в канаву и оставил валяться там.

Возвратившись в Терни, я написал прекрасной трактирщице письмо с извинениями и отослал похищенные трюфели.

Из Терни я пешком добрался в Ортиколо, где осмотрел красивый старинный мост, и затем возница за четыре паоло отвез меня в Кастель-Нуово, откуда я дошел до Рима. Я прибыл в древнюю столицу мира первого сентября, ровно в девять часов утра.

В кармане у меня было лишь семь паоло, и по этой причине ничто не привлекало моего внимания — ни красивый въезд в город у арки Порто-дель-Пополо, ни площадь того же имени, ни изукрашенные порталы храмов. Я сразу же направился к Монте-Маньянополи, где, согласно адресу, должен был найти своего епископа. Мне сказали, что он уже два дня как уехал и оставил для меня приказание следовать за ним в Неаполь. Назавтра туда отправлялась карета. Я не озаботился тем, чтобы осматривать Рим, и оставшееся до отъезда время провел в постели. Моими спутниками оказались трое крестьян, и за все время я не сказал им и двух слов. Шестого сентября я был уже в Неаполе.

Выйдя из кареты, я тотчас же пошел по данному мне адресу — епископа там не оказалось. В монастыре францисканцев, куда я обратился за помощью, сказали, что он уехал в Марторано, но никто не мог ответить, оставил ли для меня епископ какие-нибудь указания. Так я оказался один в громадном городе, с восемью карлино в кармане и без единого знакомства. Но судьба призывала меня в Марторано, и я был полон решимости добраться туда, тем более что оставалось преодолеть всего двести миль.

Несколько экипажей как раз отправлялись в Козенцу, но их хозяева, узнав, что я еду совсем без вещей, соглашались взять меня, лишь получив деньги вперед. Бесспорно, это была здравая предосторожность, но мне-то надобно было попасть в Марторано. Я решился идти пешком и, отбросив стыд, просить в пути пищу и ночлег, как это делал преподобный брат Стефано.

Прежде всего я устроил небольшую трапезу, истратив четверть своей наличности. Разузнав, что мне надо идти по Салернской дороге, я направился в Портичи и достиг его по прошествии полутора часов. Усталость уже давала о себе знать, и ноги, не советуясь с головой, привели меня прямо к трактиру, где я спросил комнату и ужин. Мне подали превосходную еду, а ночь я провел с величайшим удобством в прекрасной постели. Утром я сказал хозяину, что останусь обедать, и отправился осматривать королевский дворец. У входа ко мне подошел услужливого вида человек, одетый в восточный костюм, и предложил показать все достопримечательности дворца. Я с признательностью

поблагодарил его.

Во время разговора я упомянул, что приехал из Венеции. На это он отрекомендовался уроженцем Занте, или, как он выразился, моим подданным*. Понимая истинную цену его комплимента, я лишь слегка поклонился.

— У меня есть, — сказал он, — превосходный левантийский мускат, и я охотно уступлю его вам по сходной цене.

— Не отказываюсь. Но в мускатах я разборчив.

— И совершенно правы. У меня он самого лучшего качества, и если вы почтите вашего покорного слугу, мы отведаем его за обедом.

— С величайшей охотой.

— Могу предложить вам также самос и кефалонийское. Кроме того, у меня есть множество разных минералов — купороса, киновари, сурьмы, — а также сто квинталов ртути.

— И все это здесь?

— Нет, в Неаполе. Тут у меня только мускат и ртуть.

— Я возьму и ртуть.

Вполне естественное побуждение, а отнюдь не стремление обмануть толкает еще не привыкшего к бедности юношу к упоминанию в разговоре с богатым человеком о своих средствах, ибо он просто стыдится нужды. Во время беседы я вспомнил об амальгаме ртути, свинца и висмута, дающей увеличение ртути на четверть. Я подумал, что если греку неизвестен этот способ, то можно будет извлечь из этого выгоду. Однако же прямо предложить ему мой секрет для покупки казалось мне чересчур неловким. Надо поразить его чудесным увеличением ртути, и тогда дело будет сделано. Обман — это порок, но честную хитрость можно почитать за осмотрительность разума. Конечно, подобная добродетель сходна с мошенничеством, и поэтому тот, кто при нужде не умеет пользоваться ею с благородством, заслуживает лишь презрения.

Осмотрев дворец, мы вернулись в трактир. Грек пригласил меня к себе и велел поставить два прибора. В соседней комнате я увидел большие бутылки муската и десятифунтовые сосуды с ртутью. Я уже решил, как мне действовать, и попросил моего нового знакомца продать одну бутыль ртути. Договорившись о часе обеда, грек отправился по своим делам, а я унес ртуть к себе и пошел к аптекарю купить по два с половиной фунта свинца и висмута. Затем я возвратился и приготовил свою амальгаму.

Мы весело отобедали, грек был очень доволен, что его мускат чериго пришелся мне по вкусу. Он спросил меня, зачем я покупаю ртуть. «Вы можете узнать это, придя в мою комнату», — отвечал я. Он последовал за мной и увидел свою ртуть, разлитую в две

бутылки. Тут же у него на глазах я наполнил его прежний сосуд, и он был чрезвычайно поражен тем, что у меня осталась еще четверть количества. Я лишь рассмеялся его удивлению. Потом, позвав слугу, велел пойти к аптекарю и продать мою ртуть. Через минуту слуга возвратился и подал мне пятнадцать карлино. Я возвратил ошеломленному греку его бутыль с ртутью, поблагодарил за доставленную возможность получить лишние деньги и не забыл сказать, что завтра утром уезжаю в Салерно. «Но сегодня мы сможем вместе поужинать?» — спросил он.

Мы отправились прогуляться к Везувию и беседовали о тысяче предметов, однако о ртути не было сказано ни слова. Все же грек казался чем-то озабоченным. За ужином он сказал, что я вполне могу остаться еще на день и заработать сорок пять карлино на остальных трех бутылях. Я ответил ему с чувством, что не нуждаюсь в деньгах и проделал сей опыт единственно из желания позабавить его.

— В таком случае вы должны быть очень богаты.

— Нет, я работаю над получением золота, а это нам дорого обходится.

— Значит, вы не один?

— Да, вместе с дядюшкой.

— А зачем вам добывать золото? Вполне достаточно и ртути. Скажите, можно ли многократно увеличить ее объем?

— К сожалению, нет. Если бы это было так, я обладал бы неисчерпаемым источником богатств.

Заплатив хозяину за ужин, я велел найти мне к завтрашнему утру экипаж с двумя лошадьми, чтобы ехать в Салерно. Потом поблагодарил грека за превосходный мускат и спросил его адрес в Неаполе, присовокупив, что через две недели мы встретимся снова, поскольку мне совершенно необходимо купить у него бочонок черигo.

На этом мы простились, и я отправился спать, вполне удовлетворенный своим дневным доходом и нимало не сомневаясь, что грек после бессонной ночи явится завтра покупать мой секрет. Во всяком случае, на первое время у меня теперь были деньги, а в будущем Провидение не могло не позаботиться обо мне.

Как я предполагал, грек был у меня с первыми лучами солнца, и я пригласил его выпить со мною кофе.

— С величайшим удовольствием, но не согласитесь ли вы, синьор аббат, продать мне ваш секрет?

— Когда мы встретимся в Неаполе...

— А зачем откладывать?

— Меня ждут в Салерно, да и секрет стоит немало. К тому же

я почти не знаю вас.

— Это не причина. Здесь мне открыт кредит, и я могу заплатить наличными. Сколько вы хотите?

— Две тысячи унций.

— Согласен, но при условии, что я сам произведу увеличение моих тридцати фунтов с помощью тех веществ, которые вы укажете.

— Их здесь нет, только в Неаполе...

— Но если это металлы, достаточно поехать в Торре-дель-Греко, и там все найдется.

— А вас хорошо знают в Торре-дель-Греко? Мне не хотелось бы понапрасну терять время.

— Ваше недоверие обижает меня.

С этими словами он взял перо и, написав записку, подал ее мне. В ней значилось: «Выдать предъявителю сего пятьдесят унций золотом и отнести на счет Панагиоти».

Он сказал, что банкир живет в двухстах шагах от гостиницы, и начал настаивать, чтобы я отправился к нему лично. Я не заставил себя долго упрашивать и получил пятьдесят унций. Возвратившись, я выложил деньги на стол и согласился ехать в Торре-дель-Греко, где мы сможем завершить все дела. У него был собственный экипаж с лошадьми, он велел закладывать и уговорил меня взять деньги. Когда мы приехали, он написал обязательство выплатить мне две тысячи унций, после того как получит от меня рецепт увеличения ртути на четверть без ухудшения ее чистоты.

После этого я назвал ему свинец и висмут, и мой грек сразу же отправился куда-то осуществлять сию манипуляцию собственными руками. Возвратился он к вечеру с печальным лицом.

— Я все испытал, однако ртуть получается не чистая.

— Но она совершенно такая же, как и в Портичи, — в обязательстве об этом говорится вполне ясно.

— Там записано: «без ухудшения ее чистоты». Однако, согласитесь, ведь этого же нет. Во второй раз она уже не поддается увеличению.

— Вы знали об этом. Если мы обратимся в суд, вы проиграете, но тогда секрет мой станет всем известен. Я не думал, что вы, сударь, способны так обмануть меня.

— Синьор аббат, я никогда еще никого не обманывал.

— Но разве вы не узнали от меня секрет? В Неаполе будут смеяться, а адвокаты неплохо заработают на этом деле. Я просто глупец, что доверился вашим обещаниям. Вот ваши пятьдесят унций, они мне не нужны.

Вынимая деньги, я умирал со страха, что он возьмет их, но грек ушел, даже не притронувшись к ним. Возвратился он вечером, однако мы сели за разные столы, хотя и в одной комнате — война была объявлена. Впрочем, я не сомневался, что все кончится миром. Мы не сказали друг другу ни слова, но на следующее утро, когда я собирался ехать, он явился ко мне и на повторное мое предложение взять обратно пятьдесят унций сказал, что, напротив, я должен принять еще пятьдесят, но возвратить ему вексель. Мы принялись убеждать друг друга, и по прошествии двух часов я сдался. Обедали мы уже вместе, как добрые друзья. При расставании он дал мне записку на свой склад в Неаполе для получения бочонка муската и подарил бритву с серебряной ручкой, да еще в роскошном футляре. Мы простились с наилучшими чувствами и совершенно удовлетворенные друг другом.

Приехав в Салерно, я провел там два дня, занимаясь пополнением своего гардероба и покупкой необходимых вещей. С сотней цехинов в кармане я испытывал немалую гордость: в моем подвиге, как мне казалось, никто не мог меня упрекнуть. Чувствуя себя свободным и с достаточными средствами, чтобы явиться перед епископом в пристойном виде, а не как нищий, обрел я прежнюю свою веселость.

Из Салерно я выехал в обществе двух священников, которые направлялись по делам в Козенцу. Сто сорок две мили мы проделали за двадцать два часа. Достигнув калабрийской столицы, я на следующий день нанял небольшую повозку и продолжал путь в Марторано, с удивлением глядя на страну, в которой, несмотря на щедрость природы, была видна лишь самая крайняя бедность.

Я застал епископа Бернардо ди Бернарди сидящим за бедным столом, заваленным бумагами. Согласно обычаю я встал на колени, но он поднялся и вместо благословения заключил меня в свои объятия. Его чрезвычайно огорчил мой рассказ о том, как в Неаполе я не мог получить никаких сведений, но, узнав, что у меня нет никаких долгов, а здоровье в самом лучшем состоянии, он успокоился. Затем епископ усадил меня и велел слуге поставить третий прибор. В нашей трапезе участвовал еще священник, который, судя по его немногим словам, был величайшим невеждой. Его преосвященство занимал просторный, но дурно построенный дом, находившийся к тому же в плачевном состоянии. Обстановка была настолько скудной, что для моей постели бедный епископ оказался вынужден уступить мне один из своих матрасов! Обед просто испугал меня, чтобы не сказать большего. В остальном монсеньор был человеком недюжинного

ума и, что еще ценнее, безупречной честности. К моему величайшему удивлению, его епархия, как он сказал, приносила ему лишь пятьсот дукатов в год, да еще, к вящему несчастью, у него было шестьсот дукатов долга. Он со вздохом добавил, что может радоваться только избавлению от когтей монахов, чьи преследования были для него в течение пятнадцати лет истинным чистилищем. Его признания ужаснули меня. Я понял, что здесь отнюдь не земля обетованная и я буду ему лишь в тягость. Сам он также был огорчен, что не может предложить мне ничего лучшего.

Я полюбопытствовал, есть ли у него хорошие книги или общество образованных и благородных людей, среди которых можно с приятностью провести несколько часов. Он улыбнулся и отвечал, что во всей епархии нет положительно ни одного человека, умеющего писать без ошибок, а тем паче со вкусом или понятиями относительно изящной литературы; нет ни одной настоящей библиотеки и никто не интересуется даже газетами. Однако же он обещал мне, что мы будем вместе упражняться в словесности, как только будут получены заказанные в Неаполе книги.

Вполне возможно, это и не было пустым мечтанием, но как без хорошей библиотеки, без избранного кружка и литературной переписки обосновываться в подобном месте, имея от роду всего восемнадцать лет? Добрый епископ, видя мою задумчивость и почти уныние, почел своим долгом ободрить меня и уверил, что сделает все от него зависящее, чтобы составить мое счастье.

На следующий день епископ должен был служить в соборе, и я мог увидеть всех духовных лиц, а также прихожан, заполнивших храм. Это зрелище побудило меня окончательно решиться покинуть печальную страну: казалось, я попал в стадо животных, рассерженных одним только моим видом. Сколь безобразны женщины! Какой тупой и грубый вид у мужчин!

Возвратившись в епископский дом, я заявил доброму прелату, что не чувствую призвания окончить здесь свои дни мученической смертью. «Благословите меня и отпустите с миром. А еще лучше, уйдем вместе, и, обещаю вам, мы непременно найдем счастье», — закончил я.

Предложение мое заставило его рассмеяться, и весь день смех еще несколько раз овладевал им. Но если бы он согласился, то не умер бы через два года во цвете лет. Этот честный человек понимал, насколько основательно мое отвращение, с сожалением признавая, что напрасно завлек меня сюда. Он считал себя обязанным обеспечить мое возвращение в Венецию, но, не располагая средствами и не зная, что я при деньгах, обещал лишь

направить меня в Неаполь, к одному горожанину, у которого я получу шестьдесят дукатов и смогу возвратиться в свое отечество. Я с благодарностью принял его вспомоществование и, поспешно достав из чемодана красивый футляр с подаренной греком бритвой, поднес оный епископу, прося принять в качестве сувенира. Лишь с величайшим трудом мне удалось уговорить его, поскольку прибор стоил как раз шестьдесят дукатов. Он уступил лишь после моей угрозы остаться.

Епископ дал мне весьма лестное письмо к архиепископу в Козенцу с просьбой отправить меня в Неаполь. Так я и покинул Марторано, пробыв в нем лишь шестьдесят часов и сожалея об оставшемся там епископе, который со слезами на глазах посылал мне вслед тысячу благословений.

Архиепископ Козенцы, человек умный и состоятельный, поселил меня в своем доме. За столом я с горячностью восхвалял марторанского владыку, но не пощадил его прихожан, а заодно и всей Калабрии, причем отзывался о них с такой язвительностью, что архиепископ не мог удержаться от смеха, равно как и его гости, в числе которых были две дамы, украшавшие своим присутствием нашу трапезу.

Козенца — это город, где порядочный человек может найти для себя развлечения, поскольку там есть богатая знать, красивые женщины и достаточно сведущие люди, получившие образование в Неаполе или Риме. Я уехал оттуда на третий день с письмом архиепископа к знаменитому священнику и профессору математики Неаполитанского университета Антонио Дженовези.

Пятеро моих спутников с виду были похожи не то на корсаров, не то на записных грабителей. Поэтому я старался не показать им, что кошелек мой полон, и все время спал не раздеваясь — предосторожность, необходимая в подобной стране.

Я прибыл в Неаполь 16 сентября 1743 года и не замедлил доставить по адресу письмо марторанского епископа, которое предназначалось синьору Дженнаро Поло в приходе святой Анны. Этот человек, единственной обязанностью которого было вручить мне шестьдесят дукатов, прочтя письмо, объявил, что готов принять меня к себе в дом, чтобы познакомить со своим сыном, также интересовавшимся поэзией. После обычных церемоний я согласился и, приказав доставить мой чемодан, устроился под сим гостеприимным кровом.

Заметив желание моих новых друзей представить меня ее величеству, я поспешил ускорить приготовления к отъезду, поскольку, вне всякого сомнения, королева стала бы меня расспрашивать и пришлось бы сознаться, что я покинул бедного епископа и сбежал из Марторано. Помимо того, государыня знала

мою матушку и могла бы рассказать, что она теперь в Дрездене, а это было бы крайне неприятно дону Антонио, и вся изобретенная мной генеалогия оказалась бы опровергнутой. Поэтому я предпочел воспользоваться удобным случаем и уехать. На прощание дон Антонио подарил мне прекрасные золотые часы и вручил письмо к дону Гаспаро Вивальди, которого почитал лучшим своим другом. Дон Дженнаро отсчитал мои шестьдесят дукатов, а сын его просил писать ему и поклялся мне в вечной дружбе. Все провожали меня до самой кареты и, проливая вместе со мной слезы, напутствовали благословениями и добрыми пожеланиями.

ИЗ НЕАПОЛЯ В РИМ

С той минуты, когда я сошел на берег в Кьодже, судьба, казалось, решила испытывать меня. Но в Неаполе она улыбнулась мне и уже не оставляла без своего покровительства. Как видно из дальнейшего, Неаполь всегда был для меня благоприятен.

Я не остался неблагодарным доброму марторанскому епископу. Если он неумышленно и причинил мне зло, то его письмо к дону Дженнаро явилось источником всех моих последующих благ. Из Рима я написал ему.

Пока мы ехали по красивой Толедской улице, я был занят тем, что осушал слезы, и только при выезде из города обратил внимание на лица моих спутников. Рядом со мной сидел мужчина лет сорока-пятидесяти, приятной внешности и с некоторой живостью в глазах; зато напротив мой взор остановился на двух очаровательных лицах. Это были молодые и красивые дамы, очень тщательно одетые, с выражением одновременно и скромным, и открытым. Хотя подобное соседство было мне крайне приятно, на душе у меня оставалась тяжесть и я испытывал потребность в молчании.

До самого Аверзе никто не произнес ни слова, лишь кучер сказал, что ненадолго остановится там напоить мулов, и за краткостью сего времени мы даже не выходили из кареты. От Аверзе до Капуи мои спутники беседовали почти без передышки, а я — невероятное явление — ни разу не открыл рот. С удовольствием я слушал неаполитанский жаргон моего соседа и приятный говор обеих дам, которые оказались римлянками. Для меня было истинным подвигом провести пять часов в обществе двух очаровательных женщин и не сказать им хотя бы самого тривиального комплимента.

Приехав в Капую, где нам предстояло провести ночь, мы остановились на постоялом дворе. Нас поместили в комнате с двумя кроватями, как зачастую принято в Италии. Неаполитанец обратился ко мне: «Значит, я буду иметь честь спать с синьором аббатом». Сохраняя совершенно серьезное выражение, я ответил, что он может выбирать по своему желанию, даже если хочет распорядиться и по-иному. Одна из дам, как раз та, которая мне особенно понравилась, улыбнулась, и я счел это добрым предзнаменованием.

За ужином нас было пятеро, потому что, согласно обычаю, возница кормит своих путешественников и садится вместе с ними за стол. В поверхностном, как свойственно столь обыденным обстоятельствам, разговоре сохранялись благопристойность,

остроумие и хороший тон. Любопытство мое возбудилось. После ужина я вышел и, найдя нашего возчика, спросил, кто такие мои спутники. «Этот синьор — адвокат, — отвечал он, — а одна из дам, не знаю, какая именно, — его супруга».

Возвратившись после этого в комнату, я из вежливости лег первым, чтобы дамы могли без стеснения разоблачиться, а утром встал прежде всех и не возвращался до тех пор, пока меня не позвали к завтраку. Нам подали отменный кофе, который я изо всех сил расхваливал, на что более привлекательная из дам обещала такой же в продолжение всего путешествия. После завтрака явился цирюльник, и адвокат стал бриться; закончив с ним, нахал предложил мне свои услуги, однако я отказался. Он пробормотал, что носить бороду неопрятно, и удалился.

Когда мы разместились в экипаже, неаполитанец заметил, что все цирюльники отличаются наглостью.

— Надо еще доказать, — заметила красавица, — действительно ли носить бороду нечистоплотно. Я думаю, этот цирюльник просто глуп.

— И к тому же, — сказал я, — разве у меня есть борода?

— По-моему, да, — ответила она.

— Дорогая жена, — сказал адвокат, — тебе лучше помолчать. Возможно, синьор аббат направляется в Рим, чтобы стать капуцином.

Его острота заставила меня рассмеяться, и я парировал тем, что у меня пропало такое желание при виде его супруги.

— О! Вы ошибаетесь, моя жена, наоборот, обожает капуцинов, и чтобы понравиться ей, вы должны изменить свои намерения.

Сии фривольные предметы повлекли за собой всякие другие. Так за приятной беседой мы провели весь день. Вечером остроумный и непринужденный разговор послужил нам возмещением отвратительного ужина, поданного в Гарильяно. Зародившееся во мне чувство усиливалось благодаря сердечности той, которая пробудила его.

На следующий день, как только мы разместились в экипаже, милая дама, обратившись ко мне, спросила, намереваюсь ли я задержаться в Риме до возвращения в Венецию. Я ответил, что, не имея никаких знакомств, опасаюсь остаться там в тоскливом одиночестве.

— У нас любят иностранцев, — возразила она. — Я не сомневаюсь, вы произведете отличное впечатление.

— В таком случае, мадам, надеюсь, вы позволите мне засвидетельствовать вам мое почтение.

— Вы окажете нам честь, — ответил за нее адвокат.

Я не сводил глаз с его очаровательной жены — она

покраснела, но, казалось, не замечала моего пристального взгляда и продолжала беседу. День прошел не менее приятно, чем предыдущий. Мы остановились в Террачине, где нас поместили в комнате с тремя кроватями, двумя узкими и одной большой, стоявшей посредине. Естественно, что сестры должны были спать вместе и поэтому заняли широкую кровать. Они улеглись, пока мы с адвокатом беседовали, сидя к ним спиной.

Адвокат нашел свою постель по приготовленному уже ночному колпаку. Оставшаяся для меня стояла не далее одного фута от большой, я заметил, что предмет моих вожделений оказался с моей стороны, и без всякого самодовольства счел этот факт плодом не только чистой случайности.

Я потушил свет и лег, перебирая в голове мысли, в которых не смел признаться даже самому себе и которые тем не менее никак не мог отогнать. Напрасно призывал я сон. Едва различимый свет, позволявший видеть постель этой очаровательной женщины, не давал мне сомкнуть глаз. Кто знает, на что бы я решился в конце концов (я боролся с собой уже целый час), если бы не увидел вдруг, как она села на постели, осторожно спустила ноги, обошла кровать с другой стороны и легла к своему мужу, который, по всей видимости, продолжал мирно спать, потому что не было слышно никаких шорохов.

С чувством досады и отвращения призывал я к себе Морфея, а проснувшись на рассвете, увидел прекрасную непоседу на своем месте. Я встал и, поспешно одевшись, вышел, оставив всех погруженными в глубокий сон. Возвратился я только к самому отъезду. Адвокат и обе дамы уже ждали меня в экипаже.

Красавица моя томным голосом посетовала, что на сей раз я не отведал ее кофе. В ответ я лишь упомянул о пользе утренних прогулок и старательно избегал ее взгляда. Сделав вид, что у меня болят зубы, я погрузился в молчание.

Когда мы проезжали Пиперно, она нашла предлог, чтобы назвать мое недомогание притворным, и упрек был мне приятен, поскольку давал надежду на объяснение, к чему, несмотря на досаду, я столь стремился.

Всю вторую половину дня я продолжал молчать, и так до самой Сермонеты, где нам предстояло провести ночь. Мы приехали очень рано, день был превосходный, и синьора заявила, что охотно совершит небольшую прогулку. При этом она любезно попросила меня составить ей компанию. Я, естественно, согласился, тем более что хороший тон и не допускал отказа. Муж следовал за нами вместе с ее сестрой, но в достаточном отдалении. Как только мы отошли от них, я осмелился спросить, почему она решила, что моя зубная боль притворна.

— Откровенно говоря, — ответила она, — из-за того, как вдруг вы совершенно переменились ко мне и как старались ни разу за весь день не взглянуть на меня. Зубная боль не может помешать учтивому обращению, и оставалось только предположить, что она вымышлена. Однако же никто из нас не мог дать вам повод к столь внезапной перемене.

— И все же, мадам, должна быть какая-то причина, и вы искренни только наполовину.

— Ошибаетесь, сударь, я вполне откровенна, а если дала вам повод, то совершенно неумышленно. Сделайте милость, объясните, чем я вас обидела.

— Вовсе ничем. У меня ведь нет никакого права заявлять претензии.

— Но ваши права одинаковы с моими. В конце концов, вы пользуетесь теми же привилегиями, что и любой член добропорядочного общества. Говорите так же откровенно, как и я.

— Вы не знаете о причине или, вернее, делаете вид, что не знаете. Но, согласитесь, мой долг не позволяет говорить о ней.

— Прекрасно. Наконец-то все сказано. Однако если долг обязывает вас умолчать о причине вашей перемены, он в равной мере повелевает и не проявлять своих чувств. Деликатность требует иногда от воспитанного человека скрывать свои переживания. Конечно, это не всегда приятно, но зато, несомненно, всегда более достойно.

Мудрое сие рассуждение заставило меня покраснеть от стыда, и, признавая собственную вину, я поцеловал ее прекрасную руку.

— Я на коленях умолял бы простить меня, если бы не боялся скомпрометировать вас.

— Забудем это, — ответила она, и взгляд ее выражал совершенное прощение.

Опьяненный счастьем, вознесся я от печали к радости столь быстро, что за ужином адвокат отпускал бесчисленные остроты по поводу моих зубов и исцелившей меня прогулки.

На следующий день мы обедали в Веллетри, откуда отправились заночевать в Марино. Там, несмотря на большое скопление войск, нас поместили в двух маленьких комнатах и подали пристойный ужин.

Хотя полученное мною доказательство и было мимолетным, но зато сколь нежным и искренним! В экипаже наши глаза говорили не о многом, однако язык достигал вершин красноречия.

Адвокат рассказывал мне, что едет в Рим по делам духовенства и остановится там у своей тещи, встречи с которой нетерпеливо дожидается его супруга, не видавшая свою матушку

уже два года, с тех пор как вышла замуж. Сестра ее предполагала остаться в Риме и стать женой служащего из банка Святого Духа. Записав их адрес и получив приглашение, я обещал посвятить им все свободное от дел время.

За ужином красавица расхваливала мою табакерку и заявила мужу, что очень хотела бы иметь нечто подобное.

— Я куплю тебе точно такую же, моя дорогая, — ответил адвокат.

— Приобретите именно эту, — вступил я в разговор. — Я согласен отдать ее за двадцать унций, и вы заплатите их предъявителю написанного вашей рукой билета. Я должен эту сумму одному англичанину, и мне было бы весьма удобно расплатиться с ним таким образом.

— Ваша табакерка, синьор аббат, безусловно, стоит двадцать унций, но я согласен купить ее только за наличные. Если вы не возражаете против этого, мне будет очень приятно видеть ее в руках моей жены, для которой она послужит памятью о знакомстве с вами.

Жена его, догадавшись о моем несогласии с таковым предложением, спросила, почему бы и не написать нужный билет.

— Ах! — возразил адвокат. — Разве ты не понимаешь, что сей англичанин — чистая фантазия! Мы никогда не увидим его, а табакерка останется у нас. Моя дорогая, остерегайся этого аббата, он величайший плут.

— Никогда бы не подумала, что на свете существуют такие мошенники, — сказала она, посмотрев в мою сторону.

Когда человек влюблен, каждый пустяк приводит его в отчаяние или же, наоборот, возносит на вершину счастья. В комнате, где мы ужинали, стояла только одна кровать, и еще одна — в небольшом соседнем кабинете, где не было даже двери. Дамы выбрали, конечно, кабинет, а мы с адвокатом должны были спать вместе, и он улегся первым. Как только сестры тоже легли, я пожелал им доброй ночи и, посмотрев на моего ангела, твердо решил не спать всю ночь. Легко представить мое негодование, когда, забираясь на кровать, я услышал скрип половиц, причем столь громкий, что даже мертвый — и тот проснулся бы. Недвижимый, я ждал, пока заснет мой попутчик. Когда некий звук возвестил, что он целиком перешел во власть Морфея, я попытался соскользнуть на пол с нижнего конца кровати. Скрип даже от такого малейшего движения разбудил его, и он протянул ко мне руку. Убедившись, что я на месте, адвокат опять заснул. Еще через полчаса — новая попытка и те же препоны, так что я уже в отчаянии отказался от своих намерений.

Амур — самый коварный из богов, это само непостоянство.

Когда все кажется потерянным, этот ясновидящий слепец готовит нам полный успех.

Я уже начал засыпать, отчаявшись добиться чего-нибудь, когда внезапно раздался ужасающий грохот. С улицы неслись выстрелы и душераздирающие крики. По лестницам вверх и вниз забегали какие-то люди. Наконец они добрались до нашей двери и принялись стучать со страшной силой. Насмерть испуганный адвокат спросил, что бы это могло быть. Притворившись безразличным, я отговорился незнанием и просил не мешать мне спать. Однако оцепеневшие дамы умоляли нас зажечь свет. Я не спешил вставать, тогда за свечами отправился адвокат. Тут поднялся и я и, закрывая за ним дверь, нажал на нее с излишней силой. Замок защелкнулся, а мы остались без ключа.

Подойдя к дамам, чтобы успокоить их, я сказал, что когда адвокат вернется, мы узнаем о причине всеобщего смятения, однако пока я решил не терять времени понапрасну и позволил себе все доступные вольности, поощряемый к тому слабостью сопротивления. Несмотря на предосторожности, я все-таки несколько неумеренно опирался на мою красавицу: кровать провалилась, и мы все трое оказались на полу. Тем временем адвокат вернулся и стал стучать в дверь; сестра встала, я уступил мольбам моей прелестной римлянки и на цыпочках подошел к двери, намереваясь сообщить адвокату, что у нас нет ключа и мы не можем впустить его. Обе сестры остановились позади меня, я протянул руку, но почувствовал, как ее решительно отталкивают, и понял, что это сестра, тогда я обратился в другую сторону, уже с большим успехом. Звук поворачивающейся ручки предупредил нас, что дверь сейчас откроется, и, как ни печально, мы были вынуждены возвратиться в свои постели.

Едва дверь растворилась, адвокат поспешил к испуганным бедняжкам, желая успокоить их, но, увидев провалившееся ложе, непроизвольно расхохотался. Он позвал меня взглянуть, однако излишняя скромность помешала мне. Затем он рассказал, что тревога поднялась, когда отряд немцев напал на испанских солдат, расквартированных неподалеку отсюда. А через четверть часа уже не слышно было ни звука и восстановилось полнейшее спокойствие.

Похвалив мою невозмутимость, адвокат улегся в постель и вскоре заснул. Но я уже не смыкал глаз, и едва забрезжил день, поднялся, чтобы совершить омовения и переменить белье — это было совершенно необходимо.

Я вышел к завтраку и, пока мы пили кофе, сваренный в этот день донной Лукрецией еще лучше, чем обычно, приметил, что сестра ее обижена на меня. Но сколь слабым было впечатление

этого неудовольствия по сравнению с тем восторгом, который возбуждало во всем моем существе радостное лицо и благодарные глаза моей очаровательной Лукреции!

В Рим мы прибыли очень рано и остановились завтракать в «Башне». Адвокат пребывал в прекрасном расположении духа, я последовал его примеру и расточал тысячи комплиментов, среди которых предсказывал ему рождение сына, шутками вытянув из супруга обещание исполнить это пророчество. Не забыл я и сестру моей обожаемой Лукреции и, чтобы расположить ее в свою пользу, наговорил ей бесчисленное множество приятностей и выказал столь дружескую в ней заинтересованность, что она была вынуждена простить мне падение кровати. Расставаясь, я обещал явиться к ним с визитом на следующий же день.

И вот я в Риме, пристойно одетый, с достаточным запасом звонкой монеты, украшенный драгоценностями и безделушками, имея уже некоторый опыт, а также рекомендательные письма. Я был абсолютно свободен, и годы позволяли мне надеяться на благосклонность фортуны — благодаря некоторой смелости и располагающему лицу.

Я обладал не красотой, но чем-то значительно лучшим — неким загадочным свойством, которое возбуждает в людях доброжелательность, и к тому же был готов на все.

Я знал, что Рим — это единственный город, где человек, начав с пустого места, может достичь всего. Эта мысль поднимала мой дух и, должен признаться, необузданное самомнение, бороться с которым мешала мне неопытность, что во много раз преумножало мои надежды.

Человек, решивший сделать карьеру в древней столице мира, должен быть хамелеоном, способным отражать все цвета окружающей атмосферы, истинным сыном Посейдона Протеем, готовым принять любое обличье. Он должен обладать изворотливостью, вкрадчивостью, быть скрытным, порой способным к низостям, и в то же время должен оставаться вероломно-искренним, притворяясь, что знает много меньше, чем на самом деле. Он должен говорить всегда одинаково ровным тоном и в совершенстве владеть своим лицом, оставаясь холодным, словно лед, в те минуты, когда другой на его месте уже сгорал бы в огне. Если подобный образ жизни кажется ему отталкивающим, он должен покинуть Рим и искать удачи в другом месте. Не знаю, в укор себе или в похвалу, но могу сказать, что изо всех перечисленных качеств я обладал только услужливостью. В остальном я был всего лишь интересным повесой, породистым скакуном, совсем не дрессированным или, вернее, плохо объезженным, что, впрочем, еще хуже.

Вечером я ужинал за табльдотом в обществе римлян и иностранцев, скрупулезно следуя всему, что предписал мне аббат Джорджи. Там много плохого говорили о папе и министре-кардинале, по вине которого церковное государство наводнено двадцатью четырьмя тысячами немцев и испанцев. Но более всего поразило меня то, что, невзирая на пятницу, ели скоромное.

Впрочем, пробыв в Риме всего несколько дней, начинаешь многому удивляться, но очень быстро привыкаешь ко всему. Ни в одном другом католическом городе люди не чувствуют себя столь непринужденно в отношении религиозных дел. Жизнь здесь совершенно свободна, хотя приказы его святейшества вызывают не меньший страх, чем знаменитые указы французского короля о заключении в Бастилию без суда и следствия.

С отъездом из Рима завершается очень важная пора жизни Казановы, сформировавшая в значительной мере его характер, кончается его юность.

СМЕШНАЯ ВСТРЕЧА В ОРСАРЕ. ПУТЕШЕСТВИЕ НА КОРФУ. ПРОКАЗЫ НА ОСТРОВЕ КАЗОПО. Я ПОПАДАЮ ПОД АРЕСТ

В 1744 году, находясь на службе у кардинала Аквавивы в Риме, Казанова неожиданно решил («по капризу», как он сам пишет), что платье аббата вызывает мало почтения у окружающих. Он сшил себе офицерский мундир, в котором и явился в Венецию. Ему предложили перейти в сухопутные силы Республики, и Казанова купил патент лейтенанта. Однако приняли его всего лишь прапорщиком, обещав, впрочем, следующий чин в самое ближайшее время. Он был определен в полк, расквартированный на острове Корфу. Первая остановка — в городе Орсаре. В этой главе соединяются два путешествия Казановы на Восток — в 1741-м и 1744—1745 годах.

Глупая служанка много опасней, нежели скверная, и для хозяина обременительней, ибо скверную можно наказать, и поделом, а глупую нельзя: такую надобно прогнать, а впредь быть умнее. Моя, например, извела на обертки три тетради, в которых я подробнейшим образом описывал все то, что собираюсь изложить здесь. В свое оправдание она сказала, что бумага была испачканная и исписанная, даже с помарками, а потому она решила, что лучше употребить в хозяйстве ее, а не чистые и белые листы с моего стола. Если б я хорошенько подумал, то не рассердился бы; но гнев первым делом как раз и лишает разум способности думать. Хорошо, что гневаюсь я весьма недолго — ибо, как известно, irasci celerem tamen ut placabilis essem*. Я зря потерял время, осыпая ее бранью и со всей очевидностью доказывая, что она дура; она же не отвечала ни слова, и доводы мои пропали впустую.

Я решился переписать снова — в дурном расположении духа, а стало быть, очень скверно — все, что в добром расположении написал, должно быть, довольно хорошо; но пусть читатель мой утешится: он, как в механике, потратив более силы, выиграет во времени.

Итак, сойдя в Орсаре в ожидании, пока в недра нашего корабля погрузят балласт, я заметил человека, который, остановившись, весьма внимательно и с приветливым видом меня разглядывал. Уверенный, что то не мог быть кредитор, я решил, что его внимание привлекла моя наружность, и, не найдя в том

ничего дурного, пошел было прочь, как вдруг он приблизился ко мне.

— Осмелюсь ли спросить, мой капитан, впервые ли вы оказались в этом городе?

— Нет, сударь. Однажды мне уже случалось здесь бывать.

— Не в прошлом ли году?

— Именно так.

— Но тогда на вас не было военной формы?

— Опять вы правы; однако любопытство ваше, я полагаю, несколько нескромно.

— Вы должны простить меня, сударь, ибо любопытство мое рождено благодарностью. Вы человек, которому я в величайшей степени обязан, и мне остается верить, что Господь снова привел вас в этот город, дабы обязательства мои перед вами еще умножились.

— Что же такого я для вас сделал и что могу сделать? Не в силах взять в толк.

— Соблаговолите позавтракать со мною в моем доме — вон его открытая дверь. Отведайте моего доброго вина рефоско, выслушайте мой короткий рассказ и убедитесь, что вы воистину мой благодетель, а ныне я вправе надеяться на то, что вернулись вы сюда, дабы возобновить свои благодеяния.

Человек этот не показался мне сумасшедшим, и я, вообразив, что он хочет склонить меня купить у него вина, согласился отправиться к нему домой. Мы поднимаемся на второй этаж и входим в комнату; оставив меня, он идет распорядиться об обещанном прекрасном завтраке. Кругом я вижу лекарские инструменты и, сочтя хозяина лекарем, спрашиваю его об этом, когда он возвращается.

— Да, мой капитан, — отвечал он, — я лекарь. Вот уже двадцать лет живу в этом городе. До недавних пор я все время бедствовал, ибо ремесло свое употреблял лишь на то, чтобы пустить кровь, поставить банки, залечить какую-нибудь царапину либо вправить на место вывихнутую ногу. Заработать на жизнь я не мог; но с прошлого года положение мое, можно сказать, переменилось: я заработал много денег, с выгодою пустил их в дело — и не кто иной, как вы, благослови вас Господь, принесли мне удачу.

— Каким образом?

— Вот, коротко, как все случилось. Вы наградили известной хворью экономку дона Иеронима, которая подарила ее своему дружку, который, как подобает, поделился ею с женой. Жена его, в свой черед, подарила ее одному распутнику, который так славно ею распорядился, что не прошло и месяца, как под моим

владычеством было уже с полсотни клиентов; в последующие месяцы к ним прибавились новые, и всех я вылечил — конечно же, за хорошую плату. Несколько больных у меня еще осталось, но через месяц не будет и их, ибо болезнь исчезла. Увидев вас, я не мог не возрадоваться. В моих глазах вы стали добрым вестником. Могу ли я надеяться, что вы пробудете здесь несколько дней, чтобы болезнь возобновилась?

Посмеявшись вдоволь, я сказал ему, что нахожусь в добром здравии. Он заметно огорчился и предупредил, что по возвращении я не смогу похвастаться тем же, ибо страна, куда я направляюсь, богата дурным товаром, от которого никто так не умеет избавить, как он. Он просил рассчитывать на него и не верить шарлатанам, которые станут предлагать свои лекарства. Я пообещал ему все, что он хотел, поблагодарил и вернулся на корабль.

Я рассказал эту историю господину Дольфину, и он смеялся до упаду. Назавтра мы подняли парус, а спустя четыре дня претерпели за Курцолой жестокую бурю. Буря эта едва не стоила мне жизни, и вот каким образом.

Служил на корабле нашем капелланом священник-славянин, большой невежда, наглец и грубиян, над которым я по всякому поводу насмехался и который питал ко мне справедливую неприязнь. В самый разгар бури он расположился на палубе с требником в руках и пустился заклинать чертей, которые виделись ему в облаках; он их показывал всем матросам, а те, решив, что от погибели не уйти, плакали и в отчаянии забывали совершать маневры, необходимые, чтобы уберечь корабль от скал. Я же, видя со всей очевидностью зло и пагубное действие, какое оказывали заклинания этого священника на отчаявшуюся команду, весьма неосторожно решил, что мне надобно вмешаться. Вскарабкавшись на ванты, я стал побуждать матросов неустанно трудиться, объясняя, что никаких чертей нет, а священник, их показывающий, — безумец; однако сила моего красноречия не помешала священнику объявить меня безбожником и восстановить против меня большую часть команды.

Назавтра и на третий день ветер не унимался, и тогда этот бесноватый внушил матросам, что покуда я остаюсь на корабле, буре не будет конца. Один из них приметил меня стоящим спиной у борта и, полагая, что настал благоприятный момент, ударом каната толкнул меня так, что я непременно должен был упасть в море. Так и случилось. Помешала мне упасть лапа якоря, зацепившаяся за одежду. Мне пришли на помощь, я был спасен. Один капрал указал мне матроса-убийцу, и я, схватив жезл, стал бить его смертным боем; прибежали другие матросы со

священником, и я бы пропал, если бы меня не защитили солдаты. Явились капитан корабля и господин Дольфин и, выслушав священника, вынуждены были, чтобы утихомирить чернь, пообещать высадить меня на берег, как только представится случай; но священник потребовал, чтобы я доставил ему пергамент, купленный у одного грека в Маламокко перед самым отплытием. Я уже и позабыл о нем — но так все и было. Рассмеявшись, я сразу же отдал пергамент господину Дольфину, а тот передал его священнику, который, торжествуя победу, велел принести жаровню и швырнул его на раскаленные угли. Прежде чем обратиться в пепел, пергамент этот в продолжение получаса корчился в судорогах, и сей феномен утвердил матросов в мысли, что тарабарщина на нем — от дьявола. Пергамент этот якобы имел свойство внушать всем женщинам любовь к своему владельцу.

Надеюсь, читатель будет столь добр и поверит, что я нимало не полагался ни на какие приворотные зелья и купил пергамент за пол-экю только для смеха. По всей Италии и по всей Греции, древней и новой, попадаются греки, иудеи и астрологи, которые сбывают простофилям бумаги, наделенные волшебными свойствами; среди прочего — чары, чтобы сделаться неуязвимым, и мешочки со всякой дрянью, содержимое которых они именуют домовым. Весь этот товар не имеет никакого хождения в Германии, во Франции, в Англии и вообще на севере; но зато в странах этих впадают в иного рода обман, много более важный. Здесь ищут философский камень — и не теряют надежды.

Непогода улеглась как раз в те полчаса, что заняло сожжение моего пергамента, и заговорщики более не помышляли избавиться от моей особы. Через неделю весьма удачного плавания мы прибыли на Корфу. Отлично устроившись, отнес я свои рекомендательные письма его превосходительству генерал-проведитору, который в мирное время командовал морскими силами республики, а после — всем морским офицерам, к кому получил рекомендации. Засвидетельствовав свое почтение полковнику и всем офицерам полка, я уже не помышлял ни о чем, кроме развлечений, до самого прибытия кавалера Венье, который должен был ехать в Константинополь и взять меня с собою. Прибыл он к середине июня, и до того времени я, пристрастившись к игре в бассет, проиграл все свои деньги и продал либо заложил драгоценности. Такова участь всякого, кто склонен к азартным играм, — разве только он одолеет себя и сумеет играть счастливо, обеспечив себе преимущество расчетом или умением. Разумный игрок может пользоваться и тем и другим, не пятная себя жульничеством.

Весь месяц, проведенный на Корфу, я не изучал ни местной природы, ни местных нравов. Если не нужно было идти в караул, я дни напролет проводил в кофейне, ожесточенно сражаясь в фараон и, конечно же, усугубляя беду, которую упорно стремился презреть. Ни разу не вернулся я домой с выигрышем, и ни разу не достало у меня силы бросить игру, пока оставались еще векселя. Я получал одно лишь дурацкое удовлетворение: всякий раз, как бывала бита решающая моя карта, сам банкомет называл меня «отличным игроком».

Пребывая в столь прискорбном положении, я, казалось, воскрес, когда выстрелы пушек возвестили о прибытии балио, венецианского посланника в Константинополе. Он приплыл на «Европе» — военном корабле с семьюдесятью двумя пушками на борту, одолевшем путь из Венеции всего за неделю. Едва бросив якорь, он поднял флаг командующего морскими силами Республики, а генерал-проведитор свой флаг приспустил. В Венецианской республике нет морского чина выше балио в Оттоманской Порте. Свита у кавалера Венье была изысканная. Удовлетворяя свое любопытство, его сопровождали в путешествии Аннибале Гамбера и Карло Дзенобио, оба — венецианские графы, и маркиз д'Аркетти, дворянин из Бреши.

Всю неделю, что балио и его кортеж провели на Корфу, морские офицеры задавали в их честь званые обеды и балы. Когда я был представлен, его превосходительство сразу сказал, что уже говорил с генерал-проведитором и тот предоставляет мне отпуск на полгода, дабы следовать за ним в Константинополь в адъютантском чине. Получив отпуск, я со скромным своим снаряжением взошел на корабль; назавтра якорь был поднят, и кавалер Венье прибыл на борт в фелюге генерал-проведитора. Мы сразу же поставили парус, и за шесть дней попутный ветер привел нас к острову Цериго, где был брошен якорь, а несколько матросов отправились на берег запастись пресной водой. Желая увидеть Цериго — как говорили, древнюю Китиру — испросил я разрешения сойти тоже. Лучше бы мне было оставаться на борту: я свел дурное знакомство.

Со мною был один капитан, командовавший корабельным гарнизоном. К нам подходят двое подозрительного вида бродяг в лохмотьях и просят на пропитание. Я спрашиваю, кто они такие, и тот, что казался побойчее, отвечает так:

— Тирания Совета Десяти приговорила нас и еще три-четыре десятка других несчастных жить и, быть может, умереть на этом острове; а ведь все мы рождены подданными Республики. Пресловутое преступление наше никоим образом не является таковым — просто мы привыкли жить в обществе своих

возлюбленных, не ревнуя тех своих друзей, кто, сочтя их привлекательными, наслаждался с нашего согласия их прелестями. Не обладая богатством, мы не считали зазорным обращать это к своей выгоде. Промысел наш почли недозволенным и отправили нас сюда, где выдают нам по десять сольдо в день в колониальной монете. Нас называют mangiamarroni *. Живем мы хуже каторжников: нас снедает скука и гложет голод. Меня зовут Антонио Поккини, я падуанский дворянин, а моя мать происходит из славного рода Кампо Сан-Пьеро.

Мы подали им милостыню, обошли остров и, осмотрев крепость, вернулись на корабль. Об этом Поккини мы поговорим лет через пятнадцать-шестнадцать.

Ветер дул по-прежнему благоприятный, и через восемь-десять дней мы достигли Дарданелл; подоспевшие турецкие лодки переправили нас в Константинополь. Город этот с расстояния в лье поражает — нет в мире зрелища более захватывающего. Великолепный вид его стал причиной падения Римской империи и начала греческой. Константин Великий, увидав Константинополь с моря, воскликнул, плененный зрелищем: «Вот столица мировой империи!» — и, покинув Рим, сам обосновался здесь. Когда б он прочел предсказание Горация либо поверил в него, ему бы никогда не совершить столь великой глупости. Ведь поэт писал, что Римская империя станет клониться к упадку лишь тогда, когда один из преемников Августа задумает перенести столицу ее к месту своего рождения. Троя не так далеко отстоит от Фракии.

Во дворец Венеции, расположенный в европейском квартале Константинополя Пере, прибыли мы к середине июля. В то время в огромном городе не было чумы — превеликая редкость. Все мы отменно устроились, однако сильная жара склонила обоих балио отправиться в загородный дом, снятый балио Доной, дабы насладиться прохладой. Находился он в Буюдкаре. Первое, что мне было приказано, — это не выходить из дому без ведома балио и без телохранителя-янычара. Я исполнял этот приказ в точности: в те времена русские еще не усмирили дерзкий турецкий народ, но меня заверяли, что ныне любой иностранец может идти, куда пожелает, без малейшей опаски.

Через день по прибытии я велел отвести меня к Осман-паше Караманскому. Так стал называться граф де Бонваль после своего вероотступничества.

Я передал ему рекомендательное письмо, и меня проводили в комнату на первом этаже, обставленную во французском вкусе; я увидал тучного господина в летах, одетого с ног до головы на

французский манер. Поднявшись, он со смехом спросил, чем может быть полезен в Константинополе человеку, рекомендованному кардиналом Церкви, которую сам он уже не вправе называть матерью. Вместо ответа я рассказал ему обо всем, что заставило меня просить у кардинала рекомендательного письма в Константинополь; получив же таковое, я счел себя обязанным самым аккуратным образом явиться с ним по назначению. «Иными словами, — перебил он меня, — не будь у вас письма, вы бы и не подумали прийти сюда, и во мне у вас нет никакой нужды».

— Никакой, однако, я весьма счастлив, что теперь, благодаря письму, имею честь познакомиться в лице вашего превосходительства с человеком, о котором говорила, говорит и еще долго будет говорить вся Европа.

Порассуждав о том, сколь счастлив молодой человек, который без всяких забот, не имея никакого предначертания и твердой цели, отдается на волю фортуны, презрев страх и надежду, господин де Бонваль сказал, что письмо кардинала Аквавивы вынуждает его что-нибудь для меня сделать, а потому он хочет познакомить меня с теми тремя-четырьмя из своих друзей-турок, которые того стоят. Он пригласил меня по четвергам у него обедать, обещая присылать янычара, который оградит меня от наглой черни и покажет все, что заслуживает внимания.

В письме кардинала значилось, что я писатель; паша поднялся, говоря, что хочет показать мне свою библиотеку. Я последовал за ним. Через сад мы прошли в комнату с зарешеченными шкафами — за проволочными решетками видны были занавеси, за ними, должно быть, помещались книги.

Но как же я смеялся вместе с толстым пашою, когда он открыл запертые на ключ шкафы, и взору моему предстали не книги, но бутыли, полные вина множества сортов!

— Здесь, — сказал он, — и библиотека моя, и сераль, ибо я уже стар и женщины лишь сократили бы мой век, тогда как доброе вино продлит его либо уж, во всяком случае, скрасит.

— Полагаю, ваше превосходительство получили дозволение муфтия?

— Вы ошибаетесь. Турецкий папа наделен отнюдь не той же властью, что ваш: не в его силах разрешать запрещенное Кораном; однако это не помеха, и всякий волен погубить свою душу, если ему нравится. Набожные турки сожалеют о развратниках, но не преследуют их. Здесь нет инквизиции. Тот, кто нарушает заповеди веры, будет, как они полагают, довольно мучиться в иной жизни, чтобы налагать на него наказания на этом свете.

Испросил я — и получил без малейших затруднений — дозволения не подвергаться тому, что вы именуете обрезанием, хотя собственно обрезанием это назвать нельзя. В моем возрасте это было бы опасно. Обычно обряд этот соблюдают, однако он не входит в число заповедей.

Я провел у него два часа: он расспрашивал о многих венецианцах, своих друзьях, и особенно о господине Марк-Антонио Дьедо; я отвечал, что все по-прежнему его любят и сожалеют лишь об отступничестве; он возразил, что турком стал таким же, каким прежде был христианином, и Коран знает не лучше, чем дотоле Евангелие.

— Без сомнения, — сказал он, — я умру с покойной душою и буду в свой смертный час много счастливей, чем принц Евгений. Мне надобно было произнести, что Бог есть Аллах, а Магомет есть пророк его. Я это произнес, а думал я так или нет — это турок не заботило. Правда, я ношу тюрбан, ибо вынужден носить мундир моего господина.

Он рассказал, что, не имея иного ремесла, кроме военного, решился поступить на службу к падишаху в чине генерал-лейтенанта, лишь когда понял, что остался вовсе без средств к существованию. «К отъезду моему из Венеции, — сказал он, — суп успел уже съесть мою посуду; и если бы народ еврейский решился поставить меня во главе пятидесятитысячного войска, я бы начал осаду Иерусалима».

Он был красив, разве только чересчур в теле. Вследствие сабельного удара носил над животом серебряную пластину, чтобы поддерживать грыжу. Его сослали было в Азию, но ненадолго, ибо, по его словам, интриги в Турции не столь продолжительны, как в Европе, особенно при венском дворе. Когда я откланялся, он сказал, что с тех пор, как сделался турком, ему еще не доводилось провести двух часов приятнее, нежели в моем обществе, и просил передать от него поклон обоим балио.

Балио Джованни Дона, близко знавший его в Венеции, поручил мне передать ему множество приятнейших слов, а кавалер Венье сожалел, что не может доставить себе наслаждение и познакомиться с ним лично.

Прошел день после этой первой встречи, и наступил четверг, когда он обещал прислать за мною янычара. Слово он сдержал. Янычар, явившись в одиннадцать часов, проводил меня к паше, который на сей раз был одет по-турецки. Гости не замедлили прийти, и все мы, восемь человек, в самом веселом расположении духа уселись за стол. Обед прошел по-французски: французскими были и блюда, и церемониал; дворецкий паши был французом, да и повар тоже — честный отступник. Паша сразу же представил

меня всем, однако говорить позволил лишь к концу обеда. Говорили только по-итальянски, и турки, как я приметил, ни разу не произнесли между собою ни единого слова на своем языке. Слева от каждого стояла бутылка, в которой было, должно быть, белое вино или мед, не знаю. Я сидел слева от господина де Бонваля и, как и он, пил великолепное белое бургундское.

Меня расспрашивали о Венеции, но еще больше — о Риме, отчего разговор перешел на религию: но не на учение, а на благопристойный образ жизни и литургические обряды. Один обходительный турок, которого все называли эфенди, ибо прежде он был министром иностранных дел, сказал, что в Риме у него есть друг, венецианский посланник, и вознес ему хвалу; вторя ему, я отвечал, что посланник вручил мне письмо к одному господину, мусульманину, которого также именовал своим близким другом. Он спросил, как зовут этого господина, и я, забыв имя, вытащил из кармана бумажник, где лежало письмо. Читая адрес, я произнес его имя. Он был до крайности польщен; испросив позволения, он прочел письмо, затем поцеловал подпись и, поднявшись, заключил меня в объятия. Зрелище это доставило величайшее удовольствие господину де Бонвалю и всему обществу. Эфенди, которого звали Исмаил, пригласил меня вместе с Осман-пашой на обед и назначил день.

Однако ж во время этого весьма приятного обеда наибольшее внимание мое привлек не Исмаил, но другой турок. То был красавец лет шестидесяти на вид; на его благородном лице явственно читались мудрость и кротость. (Те же черты представились мне два года спустя на красивом лице сеньора Брагадино, венецианского сенатора, о котором я расскажу, когда придет время.) С величайшим вниманием прислушивался он ко всем моим беседам за столом, но сам не произносил ни слова. Когда человек, которого вы не знаете, но чей облик и манеры привлекают ваш интерес, молчит, находясь в одном с вами обществе, он пробуждает сильное любопытство. Выходя из обеденной залы, я спросил господина де Бонваля, кто это; тот отвечал, что это богатый и мудрый философ, славный своей добродетелью, — чистота его нравов равна лишь приверженности вере. Он советовал мне поддержать знакомство с ним, если мне удалось снискать его расположение.

Я с удовольствием выслушал это суждение и после прогулки в тени, когда все вошли в гостиную, убранную по местному обычаю, уселся на софе рядом с Юсуфом Али: именно так звали турка, который привлек мое внимание. Он сразу же предложил мне свою трубку, но я, вежливо отказавшись, взял ту, которую поднес мне слуга господина де Бонваля. Когда находишься в

обществе людей курящих, надобно непременно курить самому либо уходить: иначе волей-неволей воображаешь, что вдыхаешь дым из чужих ртов, а мысль эта заключает большую долю истины и вызывает отвращение и протест.

Довольный, что я сел рядом, Юсуф Али поначалу завел со мной разговор, подобный застольному, но главным образом — о причинах, побудивших меня оставить мирное поприще священнослужителя и обратиться к военной службе. Я же, стараясь утолить его любопытство и не предстать в его глазах с дурной стороны, рассказал вкратце всю историю своей жизни, ибо полагал необходимым убедить его в том, что ступил на стезю посланника Божьего не по душевному призванию. Казалось, он был удовлетворен. О призвании он говорил как философ-стоик, и я признал его за фаталиста; у меня хватило ума не возражать открыто против его взглядов, и замечания мои ему понравились, поскольку он оказался в силах их опровергнуть. Быть может, потребность высоко меня ценить возникла из его желания сделать меня достойным своим учеником — ибо не мог же я, девятнадцатилетний и заблудший в ложной вере, стать его учителем. Целый час он расспрашивал меня о моих воззрениях и, выслушав мой катехизис, объявил, что я, по его мнению, рожден для познания истины, так как стремлюсь к ней и не вполне уверен, что сумел ее достигнуть. Он пригласил меня прийти к нему как-нибудь и назвал дни недели, когда я непременно его застану, но предупредил, что прежде чем согласиться доставить ему это удовольствие, мне следует посоветоваться с пашой Османом. Тогда я отвечал, что уже предуведомлен о его нраве — он был очень польщен. Я обещал в назначенный день отобедать у него, и мы расстались.

Обо всем этом я рассказал господину де Бонвалю; весьма довольный, он сказал, что его янычар во дворце венецианских балио будет в полном моем распоряжении.

Я рассказал обоим балио о том, какие свел знакомства в тот день у графа де Бонваля, и они очень обрадовались. А кавалер Венье посоветовал поддерживать подобного рода связи, ибо в стране этой скука наводит на чужестранца не меньший страх, чем чума.

В назначенный день я отправился к Юсуфу с самого раннего утра, но его уже не было дома. Садовник, предупрежденный хозяином, оказывал мне всяческие знаки внимания и два часа с приятностью занимал меня, демонстрируя все красоты хозяйского сада и особенно цветы. Садовник этот был неаполитанец, служивший Юсуфу уже тридцать лет. Поведение его заставило меня предположить в нем образованность и благородство; однако

он без обиняков признался, что никогда не учился грамоте, служил матросом, попал в рабство и столь счастлив на службе у Юсуфа, что почел бы наказанием, если б тот отпустил его на свободу. Я избегал спрашивать его о хозяйских делах: любопытство мое было бы посрамлено сдержанностью этого человека.

Прибыл на лошади Юсуф, и после подобающих случаю приветствий мы отправились вдвоем обедать в беседку, откуда видно было море: там мы с удовольствием наслаждались легким ветерком, умерявшим великую жару. Ветерок этот дует каждый день в один и тот же час и зовется мистралем. Мы отлично поели, хотя из приготовленных блюд подан был один кауроман (блюдо из рубленого вареного мяса). Пил я воду и превосходный мед, уверяя хозяина, что он мне больше по вкусу, чем вино: я действительно пил его в то время весьма редко. Расхваливая мед, я сказал, что мусульмане, преступающие закон и пьющие вино, недостойны снисхождения, ибо пьют, должно быть, единственно потому, что оно запрещено; Юсуф заверил, что многие не считают грехом употреблять вино, полагая его лекарством. Пустил в ход это лекарство, по его словам, врач самого падишаха, составивший на этом целое состояние и снискавший безраздельное расположение своего господина, который и вправду все время болел, но лишь оттого, что постоянно был пьян. Юсуф удивился, когда я сказал, что у нас пьяницы весьма редки и порок этот распространен лишь среди простого люда. Он заметил, что не понимает, отчего все остальные религии не запрещают вина, лишающего человека разума, и я отвечал, что все религии запрещают неумеренное его употребление и грехом можно считать лишь неумеренность. Он согласился со мною в том, что вера его должна была бы воспретить и опиум, ибо действует он так же, и много сильнее, и добавил, что ни разу за всю свою жизнь не курил опиума и не пил вина.

После обеда нам принесли трубки и табаку. Набивали трубки мы сами. Я в то время курил, и с удовольствием, однако имел привычку сплевывать. Юсуф же не сплевывал; он сказал, что табак я сейчас курю отменный, с конопляной добавкой, и ему жаль той бальзамической его части, которая, должно быть, содержится в слюне, а посему я зря не глотаю ее, а попросту выбрасываю. Сплевывать, заключил он, подобает лишь тогда, когда куришь дурной табак. Согласившись с его доводами, я отвечал, что трубку и в самом деле можно полагать истинным удовольствием, лишь когда табак в ней всем хорош.

— Конечно, — отозвался он, — отличный табак необходим, чтобы получать от курения удовольствие; но не он главное, ибо

удовольствие от хорошего табака — лишь чувственное удовольствие. Истинное наслаждение ничуть не зависит от органов чувств и воздействует на одну только душу.

— Не могу вообразить себе, дорогой Юсуф, какими удовольствиями могла бы наслаждаться душа моя без посредства чувств.

— Так слушай. Получаешь ли ты удовольствие, набивая трубку?

— Да.

— Которому же из чувств отнесешь ты его, если не душе твоей? Пойдем далее. Ты ощущаешь удовлетворение, лишь выкурив ее до конца, не так ли? Ты доволен, когда видишь, что в трубке не осталось ничего, кроме пепла.

— Так оно и есть.

— Вот уже два удовольствия, в которых чувства твои отнюдь не принимают участия; а теперь, прошу тебя, угадай третье, главное.

— Главное? Благовоние табака.

— Отнюдь нет. Это удовольствие обоняния — оно чувственно.

— Тогда не знаю.

— Итак, слушай. Главное удовольствие от курения заключается в самом созерцании дыма. Ты никогда не сможешь увидеть, как он исходит из трубки; но ты видишь, как весь он появляется из угла твоего рта, через равные, не слишком малые промежутки времени. Воистину это удовольствие главное: ведь ты никогда не увидишь слепого, которому нравилось бы курить. Попробуй сам закурить ночью в комнате, где нет огня: ты не успеешь зажечь трубку, как уже отложишь ее.

— Слова твои — истинная правда; но, прости, я полагаю, что многие из удовольствий, влекущих мои чувства, предпочтительнее, нежели те, что влекут к себе одну лишь душу.

— Сорок лет назад я думал так же, как ты. Спустя сорок лет, если удастся тебе обрести мудрость, ты станешь думать так же, как я. Удовольствия, пробуждающие страсти, смущают душу, сын мой, а потому, как ты понимаешь, не могут с полным правом быть названы удовольствиями.

— Но мне кажется, что удовольствию достаточно лишь представать таковым, дабы им быть.

— Согласен, но когда бы ты дал себе труд и поразмыслил над ними, испытав их, то не почел бы их чистыми.

— Быть может, и так; но к чему мне давать себе труд, который послужит лишь к уменьшению испытанного мною удовольствия?

— Придет время, и ты станешь получать удовольствие от

самого этого труда.

— Мне представляется, дорогой отец, что юности ты предпочитаешь зрелость.

— Говори смелей — старость.

— Ты удивляешь меня. Должен ли я понимать так, что в юности ты был несчастлив?

— Нимало. Я всегда был здоров и счастлив, никогда не становился жертвой страстей; но наблюдение над сверстниками стало мне доброй школой — я научился понимать людей и обрел путь к счастью. Счастливейший человек не тот, у кого более всего наслаждений, но тот, кто умеет из всех наслаждений выбрать великие; великими же, повторяю тебе, могут быть лишь наслаждения, которые, минуя страсти, умножают покой души.

— Это те наслаждения, что ты называешь чистыми.

— Такую картину являет собой обширный, покрытый травою луг. Зеленый цвет его, восславленный божественным пророком, поражает мой взор, и в этот миг я чувствую, как дух мой погружается в блаженный покой — словно я приближаюсь к творцу всего сущего. Тот же мир ощущаю я, сидя на берегу реки и глядя на стремящийся предо мною поток, не ускользающий от взора и вечно прозрачный в беге своем. Он представляется мне образом моей жизни и того покоя, в каком я желаю ей достигнуть незримого предела в ее устье.

Так рассуждал этот турок. Мы провели вместе четыре часа. От двух прежних жен у него остались двое сыновей и дочь. Старший уже получил свою долю, жил в Салониках и разбогател, занимаясь торговлей. Младший находился на службе у султана, в большом серале, и долей его распоряжался опекун. Пятнадцатилетней дочери, которую он называл Зельми, предстояло после его смерти унаследовать все имущество. Юсуф дал ей самое лучшее воспитание, какого только можно было желать, дабы она могла составить счастье будущего супруга. Скоро мы еще поговорим об этой девушке. Жены его умерли, и пять лет назад он женился в третий раз на юной красавице, уроженке острова Хиос, однако, по его словам, из-за старости уже не надеялся иметь от нее ни сына, ни дочери. Между тем ему минуло всего шестьдесят лет. Прощаясь, я должен был обещать, что стану бывать у него по меньшей мере один раз в неделю.

За ужином я рассказал господам балио, как провел день, и они заключили, что мне отменно повезло, ибо я могу надеяться с приятностью провести три месяца в стране, где сами они, чужеземные посланники, могут лишь умирать от скуки.

По прошествии трех или четырех дней господин де Бонваль отвел меня на обед к Исмаилу, где взору моему предстала

картина азиатской роскоши; однако многочисленные гости говорили почти все время по-турецки, и я скучал — равно как и господин де Бонваль. Приметив это, Исмаил, когда мы уходили, просил меня завтракать у него возможно чаще, уверяя, что я доставлю ему истинное удовольствие. Я обещал и дней через десять-двенадцать исполнил свое обещание. В свое время читатель узнает об этом подробно. Теперь же мне надобно вернуться к Юсуфу, нрав которого, открывшийся во второй мой визит, пробудил во мне великое уважение и сильнейшую к нему привязанность.

Обедали мы наедине, как и в прошлый раз, и разговор зашел об изящных искусствах; я высказал свое суждение об одной из заповедей Корана, лишающей подданных Оттоманской Порты столь невинного удовольствия, как наслаждение созданиями живописцев и скульпторов. Он отвечал, что Магомету, как истинному мудрецу, непременно нужно было удалить от глаз мусульман любые изображения.

— Вспомни, что все народы, которым великий наш пророк открыл Бога, были идолопоклонники. Люди слабы: глядя на те же предметы, они с легкостью могли впасть в прежние заблуждения.

— Я полагаю, дорогой отец, что никогда ни один народ не поклонялся изображению, но, напротив, изображенному божеству.

— Мне тоже хотелось бы так думать; но Бог бесплотен, а значит, следует удалить из головы черни мысль, что он может быть зрим. Вы, христиане, единственные верите, будто видите Бога.

— Воистину так, мы в этом уверены; но не забывай, прошу тебя, что уверенность эту дарует нам вера.

— Знаю, но оттого вы не меньшие идолопоклонники, ибо видимое вам — всего лишь материя, а уверенность ваша безраздельна — разве только ты скажешь, что вера умаляет ее.

— Господь сохранит меня от таких слов, ибо, напротив, вера ее укрепляет.

— У нас, хвала Господу, нет нужды в подобной иллюзии, и ни один философ в мире не сумеет доказать мне необходимость ее.

— Вопрос этот, дорогой отец, принадлежит не к философии, но к богословию, которое много ее выше.

— Ты рассуждаешь словно наши богословы, которые, впрочем, отличны от ваших в том, что употребляют свою науку не для сокрытия истин, но для прояснения их.

— Вообрази, дорогой Юсуф, речь идет о таинстве.

— Бытие Бога — уже величайшее таинство, чтобы людям набраться смелости что-либо к нему прибавить. Бог может быть

только прост, и именно такого Бога возгласил нам пророк. Согласись, нельзя ничего добавить к сущности его, не нарушив простоты. Мы говорим, что Бог един: вот образ простоты. Вы говорите, что он един, но в то же время тройствен: определение противоречивое, абсурдное и нечестивое.

— Это таинство.

— Бог или определение? Я говорю об определении, а оно не должно быть таинством, разум не должен отвергать его. Здравый смысл, дорогой сын, не может не счесть нелепостью утверждение, сущность которого абсурдна. Докажи, что три не больше единицы или хотя бы может ей равняться, и я немедля перейду в христианство.

— Религия моя велит мне верить, не рассуждая, дорогой Юсуф, и одна мысль о том, что силой рассуждений я, может статься, откажусь от веры моего милого отца, приводит меня в трепет. Сначала я должен убедиться в том, что он заблуждался. Скажи, могу ли я, почитая его память, быть столь самонадеянным, чтобы дерзнуть сделаться ему судьею и вознамериться вынести ему приговор?

Увещевание это, я видел, взволновало честного Юсуфа. Он умолк и минуты через две заметил, что подобный образ мыслей, вне сомнения, делает меня угодным Богу, а значит, его избранником; но что только Бог и может наставить меня, если я заблуждаюсь, ибо, насколько ему известно, ни один человек не в силах отвергнуть высказанное мною чувство. Мы весело поболтали о других вещах, и к вечеру, получив заверения в бесконечной и чистейшей дружбе, я удалился.

По дороге домой я размышлял о том, что Юсуф, быть может, прав, говоря о сущности Бога, ибо поистине сущее всего сущего не может в основе своей быть ничем иным, как только простейшим из всех существ; однако же вряд ли возможно, чтобы из-за заблуждения христианской религии я дал себя убедить и перешел в турецкую веру, у которой может быть весьма справедливое представление о Боге, но которая смешна мне уже тем, что учением своим обязана величайшему сумасброду и обманщику. Однако Юсуф, казалось мне, и не намерен был меня обращать.

В третий раз за обедом, когда разговор, по обыкновению, зашел о религии, я спросил, уверен ли он, что вера его единственная способна доставить смертному вечное спасение. Он отвечал, что не уверен в единственности ее, но уверен в ложности христианства, ибо оно не может стать всеобщей религией.

— Отчего же?

— Оттого, что две трети планеты нашей не знают ни хлеба,

ни вина. Корану же, заметь, можно следовать всюду.

Я не знал, что отвечать, и не стал лукавить. На замечание мое, что Бог невеществен, а значит, есть дух, он сказал, что нам ведомо лишь то, чем он не является, но не то, что он есть, а стало быть, мы не можем утверждать, что он есть дух, ибо имеем о нем лишь самое общее представление.

— Бог, — сказал он, — невеществен: вот все, что нам ведомо, и большего мы никогда не узнаем.

Я вспомнил, что и Платон говорит о том же, а Юсуф, без сомнения, не читал Платона.

В тот же день он сказал, что бытие Бога приносит пользу лишь тем, кто в него верит, а потому безбожники — несчастнейшие из смертных.

— Бог, — говорил он, — создал человека по подобию своему, дабы из всех сотворенных им животных одно способно было воздать хвалу бытию его. Не будь человека, не было бы и свидетеля славы Господней; а потому человек должен понимать, что первейший его долг — верша справедливость, славить Бога и доверяться Провидению. Вспомни: Бог никогда не оставит того, кто в невзгодах простирается перед ним и молит о помощи, и Бог покинет в отчаянии несчастного, полагающего молитву бесполезной.

— Однако счастливые атеисты все же существуют.

— Верно; но, хотя в душах их царит покой, они представляются мне достойными сожаления, ибо ни на что не надеются после земной жизни и не признают своего превосходства над животными. К тому же, будучи философами, они не могут не погрязнуть в невежестве, а не размышляя, не имеют опоры в невзгодах. Наконец, Бог сотворил человека таким, что он не может быть счастлив без уверенности в божественной природе своего бытия. Во всяком сословии неминуемо возникает потребность признать ее — иначе человек никогда бы не признал Бога творцом всего сущего.

— Но объясни мне, отчего атеизм никогда не проявлялся иначе, чем в воззрениях какого-либо ученого, и никогда не становился воззрением целого народа?

— Оттого что бедный разумеет свои нужды много лучше богатого. Среди таких, как мы, немало нечестивцев, что насмехаются над верующими, уповающими на паломничество в Мекку. Несчастные! Им подобает чтить древние памятники, которые, возбуждая благочестие в правоверных и питая их религиозное чувство, укрепляют их в невзгодах. Не будь этого утешения, невежественный народ впал бы в отчаяние и пустился во все тяжкие.

Счастливый вниманием, с которым я слушал его, Юсуф с каждым разом все более предавался своей склонности к наставлению. Я стал приходить к нему на целый день без приглашения, и оттого дружба наша еще окрепла.

Однажды утром я велел проводить себя к Исмаилу- эфенди, чтобы, исполняя данное обещание, позавтракать с ним. Турок встретил и принял меня как нельзя более достойно, но затем пригласил совершить прогулку в небольшом саду, и там в беседке явилась ему фантазия, которая пришлась мне отнюдь не по вкусу; со смехом я отвечал, что не любитель подобных развлечений, и наконец, утомившись его ласковой настойчивостью, не вполне учтиво вскочил. Тогда Исмаил сделал вид, что одобряет мое отвращение, и объявил, что пошутил. Раскланявшись подобающим образом, я удалился в твердом намерении более к нему не приходить; однако пришел еще раз, и в свое время мы об этом поговорим. Я поведал об этом приключении господину де Бонвалю, и тот объяснил, что Исмаил согласно турецким обычаям намеревался доставить мне знак своего величайшего расположения, но я могу не сомневаться — впредь, если мне случится бывать у него, он более не предложит мне ничего подобного, ибо во всем остальном он весьма обходителен и имеет во власти рабов совершенной красоты. Он сказал, что учтивость велит мне не прекращать своих визитов.

Как-то раз Юсуф спросил, женат ли я, и, получив отрицательный ответ, завел разговор о целомудрии, которое, как он полагал, должно считаться добродетелью, лишь когда влечет за собою воздержание; однако оно не может быть угодно Богу и противно ему, ибо нарушает первейшую заповедь, данную творцом человеку.

— Хотел бы я понять, — продолжал он, — что такое целомудрие для ваших рыцарей Мальтийского ордена. Они дают обет целомудрия; это не означает, что они станут вовсе воздерживаться от плотского греха, ведь когда б он воистину считался грехом, всякий христианин отказался бы от него при крещении. Значит, обет заключается единственно в безбрачии. Значит, целомудрие может быть нарушено лишь в браке, а брак, замечу, — одно из ваших таинств. Значит, господа эти обещают не что иное, как то, что никогда не совершат плотского греха в согласии с законом, указанным Богом, но вольны совершать его незаконно, сколько пожелают, — настолько, что могут признавать своими сыновьями детей, появившихся вследствие этого двойного преступления. Детей этих они именуют побочными, или «естественными», — словно те, что рождены в брачном союзе, осененном таинством, не естественны! Итак, обет целомудрия не

может быть угоден ни Богу, ни людям, ни тем, кто его блюдет.

Он спросил, почему я не женат. Я отвечал, что надеюсь никогда не оказаться вынужденным заключить этот союз.

— Как! — воскликнул он. — Должен ли я полагать, что в тебе есть изъян, либо ты жаждешь обречь себя на вечные муки, — если, конечно, не скажешь, что христианин ты лишь с виду?

— Во мне нет изъяна, и я христианин. Скажу тебе больше: я люблю прекрасный пол и надеюсь наслаждаться его расположением.

— Значит, согласно твоей вере, ты будешь навеки проклят.

— Уверен, что нет, ибо в грехах своих мы исповедуемся священникам и они дают нам отпущение.

— Знаю, но, согласись, нелепо полагать, будто Бог простит тебе проступок, который ты, возможно, не совершил бы, не будучи уверен, что на исповеди он простится. Бог прощает лишь раскаявшихся.

— Вне всякого сомнения: исповедь предполагает раскаяние. Без него отпущение не имеет силы.

— И мастурбация также считается у вас грехом?

— Даже большим, нежели незаконное соитие.

— Знаю, и всегда этому удивлялся: ведь глуп тот законник, что создает неисполнимый закон. Мужчина, если он здоров и у него нет женщины, непременно должен мастурбировать, когда природа повелевает ему ощутить в том потребность. Тот, кто из страха запятнать свою душу нашел бы в себе силы воздержаться, мог бы смертельно заболеть.

— У нас полагают обратное. Считается, что подобным путем молодые люди вредят темпераменту и сокращают себе жизнь. Во многих общинах за ними постоянно следят, не позволяя совершить это преступление над собою.

— Эти надзиратели ваши — глупцы, а те, кто им платит, — безмозглы, ибо самый запрет обязательно усиливает желание нарушить столь тиранический и противный природе закон.

— Все же мне кажется, что, излишне предаваясь подобному распутству, изнуряющему и лишающему силы, можно повредить здоровью.

— Согласен; но излишества не будет, если не вызывать его нарочно — а те, кто запрещает этим заниматься, как раз его нарочно и вызывают. Не понимаю, отчего у вас не стесняют в этом девочек, но почитают за благо стеснять мальчиков.

— Для девочек здесь нет большой опасности, ибо они могут потерять лишь весьма малое количество вещества, которое к тому же происходит из иного источника, нежели зародыш жизни у мужчины.

— Не имею понятия, однако есть у нас доктора, полагающие, что бледность у девиц происходит именно от этого.

После этого и многих других разговоров, в продолжение которых Юсуф Али, даже не соглашаясь со мною, находил, что рассуждаю я весьма разумно, он удивил меня своим предложением:

— У меня двое сыновей и дочь. О сыновьях я более не забочусь, они получили уже положенную им часть от того, чем я владею; что же до дочери моей, то, когда я умру, ей перейдет все мое состояние, а пока я жив, в моей власти осчастливить того, кто возьмет ее в жены. Пять лет назад я женился на молодой, но она не принесла мне ребенка и, уверен, уже не принесет, ибо я стар. Дочери моей, которой дал я имя Зельми, пятнадцать лет, она красива, с карими глазами и каштановыми волосами, как ее покойная мать, высока, хорошо сложена, ласкового нрава, и воспитал я ее так, что она достойна завладеть сердцем самого султана. Она знает греческий и итальянский, поет, аккомпанируя себе на арфе, рисует, вышивает и всегда весела. Ни один мужчина в мире не может похвалиться, что видел ее лицо, а меня она любит так, что во всем полагается на мою волю. Девушка эта — сокровище, и я вручу его тебе, если ты согласишься отправиться на год в Андринополь, к одному моему родственнику, чтобы он научил тебя нашему языку, вере и обычаям.

Через год ты вернешься и, как только примешь мусульманство, дочь моя станет твоей женой, у тебя будет дом, покорные рабы и рента, чтобы ни в чем не знать нужды. Вот и все. Я не хочу, чтобы ты отвечал мне или теперь, или завтра, или в любой другой назначенный срок. Ты дашь ответ, когда Гений твой велит ответить и принять мой дар; если же ты не примешь его, то незачем в другой раз и говорить об этом. Не советую об этом деле даже размышлять, ибо я заронил семя в твою душу, и отныне ты более не волен ни противиться своему предназначению, ни принимать его. Не торопись, не мешкай, не тревожься, и ты лишь исполнишь волю Бога и непреложный приговор своей судьбы. Такому, каким я узнал тебя, тебе недостает для счастья лишь общества Зельми. Ясно вижу, что станешь ты одним из столпов Оттоманской империи.

Сказав эту краткую речь, Юсуф прижал меня к груди и удалился, чтобы я не смог дать ему немедленного ответа. Я возвратился к себе, предаваясь столь глубоким раздумьям над предложением Юсуфа, что даже не заметил пройденного пути. Оба балио, равно как день спустя и господин де Бонваль, приметили мою задумчивость и спросили о причине ее, но я осмотрительно промолчал. Я полагал, что сказанное Юсуфом

более чем верно. Предмет был столь важным, что мне не подобало не только кому-либо говорить о нем, но и думать: пока дух мой не обретет покой и равновесие, в каком я должен принять решение. Все страсти мои, предубеждения, предрассудки и даже известный личный интерес должны были умолкнуть. Проснувшись назавтра, я позволил себе чуть поразмыслить и понял, что, думая, могу помешать себе в принятии решения и если и должен решиться, то лишь вследствие того, что нимало не думал. В таких случаях стоики говорили: Sequere Deum — Следуй Богу!

Четыре дня я не появлялся у Юсуфа, и когда на пятый явился, оба мы очень обрадовались; нам и в голову не пришло сказать хоть слово о предмете, о котором, однако, по необходимости не могли оба не думать. Так прошло две недели; но молчание наше происходило не из скрытности, а только из дружбы и уважения, которые мы питали друг к другу, а потому он, заведя речь о своем предложении, сказал, что, как ему представляется, я обратился к какому-либо мудрецу, дабы вооружиться добрым советом. Я заверил его в обратном, говоря, что в столь важном деле не должен следовать ничьему совету.

— Я положился на Бога, всецело доверился ему и уверен, что сделаю правильный выбор; либо я решусь стать твоим сыном, либо останусь тем, кто я есть. Пока же мысль об этом посещает душу мою утром и вечером, в минуты, когда, наедине со мною, пребывает она в величайшем спокойствии. Когда решимость посетит меня, лишь тебе, отец мой, дам я знать и с той минуты стану повиноваться тебе, как отцу.

Объяснение это вызвало на глазах его слезы. Левую руку он возложил мне на голову, указательный и средний пальцы правой — на мой лоб и велел поступать так же и впредь. Я отвечал, что, может статься, я не понравлюсь его дочери Зельми.

— Моя дочь любит тебя, — возразил он, — всякий раз, как мы обедаем вместе, она, пребывая в обществе моей жены и своей воспитательницы, видит тебя и слушает весьма охотно.

— Но она не знает, что ты назначил ее мне в супруги.

— Она знает, что я стремлюсь обратить тебя, дабы соединить ее судьбу с твоею.

— Я рад, что тебе не дозволено показать мне ее: она могла бы меня ослепить, и тогда, движимый страстью, я уже не мог бы надеяться принять решение в чистоте души.

Слыша такие рассуждения, Юсуф радовался необычайно; я же отнюдь не лицемерил и говорил от чистого сердца. Одна мысль о том, чтобы увидеть Зельми, приводила меня в трепет. Я твердо знал: влюбившись в нее, без колебаний стану турком, тогда как,

будучи равнодушен, никогда не решусь на подобный шаг. Таковой не только не представлялся мне привлекательным, но, напротив, являл картину весьма неприятную в отношении как настоящей, так и будущей моей жизни. Ради богатств, равные которым я, положившись на милость судьбы, мог надеяться обрести в Европе и без постыдной перемены веры, мне, как я полагал, не подобало равнодушно сносить презрение тех, кто меня знал и к чьему уважению я стремился. Невозможно было отрешиться от прекрасной надежды, что я стану знаменит среди просвещенных народов, прославившись в искусствах, изящной словесности либо на любом другом поприще; мне нестерпима была мысль о том, что сверстники мои пожнут славу, быть может уготованную мне, останься я по-прежнему с ними. Мне представлялось, и справедливо, что надеть тюрбан — это участь, подобающая лишь людям отчаявшимся, а я к их числу не принадлежал. Но особенное негодование мое вызывала мысль, что я должен буду отправиться на год в Андринополь, дабы научиться варварскому наречию, которое нимало меня не привлекало и которому, по этой причине, я едва ли мог выучиться в совершенстве.

Мне нелегко было, одолев тщеславие, лишиться репутации человека красноречивого, которую я снискал повсюду, где побывал. К тому же прелестная Зельми, может статься, отнюдь не показалась бы мне таковой, и уже поэтому я сделался бы несчастлив: Юсуф мог прожить на свете еще лет двадцать, я же чувствовал, что, перестав оказывать должное внимание его дочери, из почтения и благодарности к доброму старику никогда не сумел бы набраться смелости и смертельно его оскорбить. Таковы были мои невеселые мысли; Юсуф о них не догадывался, и открывать ему их не было никакой нужды.

Спустя несколько дней на обеде у дорогого моего паши Османа я встретил Исмаила-эфенди. Он выказывал мне самое дружеское расположение, я отвечал тем же; он упрекал меня в том, что я не пришел в другой раз к нему на завтрак, однако, отправляясь в этот «другой раз» к нему на обед, я почел нужным идти с господином де Бонвалем. Я пришел в назначенный день и после обеда наслаждался прелестным зрелищем: рабы-неаполитанцы обоего пола представляли забавную пантомиму, а затем танцевали калабрийские танцы. Господин де Бонваль завел речь о венецианском народном танце, именуемом «фурлана», Исмаил полюбопытствовал, и я отвечал, что смогу показать его, однако мне нужна танцовщица-итальянка и скрипач, который бы знал мелодию. Взяв скрипку, я наиграл мелодию Исмаилу; но даже если бы танцовщица и была найдена, невозможно было

одновременно играть и танцевать. Тогда Исмаил поднялся и отвел в сторону одного из евнухов; тот удалился и, вернувшись через три-четыре минуты, сказал ему что-то на ухо. Исмаил объявил, что танцовщица уже найдена, и я отвечал, что найду и скрипача, если ему угодно будет послать кого-нибудь с запиской в Венецианский дворец.

Все было сделано весьма скоро. Я написал записку, он отослал ее, и через полчаса явился со своею скрипкой слуга балио Доны. Минутой позже отворилась дверь в углу залы — и из нее появилась красавица с лицом, скрытым черной бархатной маской овальной формы, так называемой мореттой. Все общество пришло в восторг, ибо нельзя было представить существа более привлекательного, нежели эта маска, — как стройностью стана, так и изысканностью манер. Богиня встает в позицию, я с нею, и мы танцуем шесть фурлан кряду. Нет у меня на родине танца стремительней: но я задыхаюсь, а красавица, держась прямо и недвижно, не выказывает ни малейшей усталости и явно бросает мне вызов. На поворотах, как нельзя более утомительных, она, казалось, парила над землею. Я был изумлен донельзя: и в самой Венеции не случалось мне видеть, чтобы так хорошо танцевали. Отдохнув немного и несколько стыдясь своей слабости, я снова приблизился к ней и сказал: «Еще шесть — и довольно, если вы не хотите моей смерти». Она, быть может, отвечала бы мне, если б могла — но в подобного рода маске невозможно произнести ни слова; пожатие руки, незаметное для всех, сумело заменить красноречие. Мы станцевали еще шесть фурлан, евнух открыл ту же дверь, и она исчезла.

Исмаил рассыпался в благодарностях, однако это я должен был благодарить его — за единственное истинное удовольствие, что получил в Константинополе. Я спросил, венецианка ли эта дама, но он отвечал лишь лукавой улыбкой. Под вечер все мы удалились.

— Этот славный человек поплатился сегодня за свою роскошь, — сказал мне господин Бонваль, — и, я уверен, уже раскаивается в том, что позволил своей красавице рабыне с вами танцевать. Согласно здешнему предрассудку поступок этот пятнает его славу, и я советую вам остерегаться: вы, наверное, понравились этой девушке, стало быть, она задумает вовлечь вас в какую-нибудь интригу. Будьте осмотрительны — это всегда опасно, принимая во внимание турецкие нравы.

Я обещал не поддаваться никаким интригам, но слова своего не сдержал. Спустя три-четыре дня встретилась мне на улице старуха рабыня и предложила шитый золотом кисет для хранения табака, запросив за него пиастр; взяв по ее настоянию кисет в

руки, я почувствовал внутри письмо; она же, я видел, старалась не попасться на глаза шагавшему позади меня янычару. Я заплатил, она удалилась, а я отправился своей дорогой, к Юсуфу, и, не застав его дома, пошел гулять в сад. Письмо было запечатано, адрес не надписан, а значит, рабыня могла ошибиться; любопытство мое еще усилилось. Письмо написано было по-итальянски, довольно правильно. Вот перевод его: «Если вам любопытно увидать ту, что танцевала с вами фурлану, приходите под вечер на прогулку в сад за прудом и сведите знакомство со старой служанкой садовника, спросив у нее лимонаду. Быть может, вам случится увидеть ее без всякой опасности, даже если встретится вам Исмаил; она венецианка. Не говорите, однако, никому ни слова об этом приглашении, это важно».

— Не таков я дурак, дорогая соотечественница! — вскричал я в восхищении, словно она уже была передо мною, и сунул письмо в карман. Но тут выходит из боскета красивая старая женщина и, подойдя ко мне, спрашивает, что мне угодно и как я ее заметил. Я отвечаю со смехом, что говорил сам с собою, не думая быть услышанным. Она, не таясь, сказала, что рада встретиться со мною, что сама она римлянка, воспитала Зельми и научила ее петь и играть на арфе. Похвалив красоту и милый нрав своей ученицы, она заверила, что, увидав ее, я бы непременно влюбился; однако ж, к досаде ее, это не дозволено.

— Она видит нас теперь из-за вот этих зеленых жалюзи; мы любим вас с тех самых пор, как Юсуф сказал, что вы, быть может, станете супругом Зельми сразу по возвращении из Андринополя.

Спросив, могу ли я рассказать Юсуфу о ее признании, и получив отрицательный ответ, я тотчас понял, что, попроси я настойчивей, она решилась бы доставить мне удовольствие и показала свою прелестную ученицу. Для меня нестерпима была даже мысль о том, чтобы поступком своим огорчить дорогого мне хозяина, но всего более боялся я вступать в лабиринт, где с легкостью мог бы пропасть. Тюрбан, казалось, видневшийся вдалеке, приводил меня в ужас.

Подошел Юсуф и, увидев, что я беседую с этой римлянкой, как мне почудилось, не рассердился. Он поздравил меня, сказав, что я, должно быть, получил немалое удовольствие, танцуя с одной из красавиц, сокрытых в гареме сладострастника Исмаила.

— Это, стало быть, большая новость, о ней говорят?

— Такое нечасто случается, ведь в народе живет предрассудок, запрещающий являть завистливым взорам красавиц, которыми мы обладаем; однако в своем доме всякий волен поступать, как пожелает. К тому же Исмаил — человек

весьма обходительный и умный.

— Знает ли кто-нибудь даму, с которой я танцевал?

— О, не думаю! Всем известно, что у Исмаила их полдюжины и все очень хороши, а эта, помимо прочего, была в маске.

Как обычно, мы самым веселым образом провели день; выйдя из его дома, я велел проводить себя к Исмаилу, который жил в той же стороне.

Здесь меня знали и впустили в сад. Я направился было к месту, указанному в записке, но тут меня заметил евнух и, приблизившись, сказал, что Исмаила нет дома, однако для него будет большой радостью узнать, что я прогуливался в его владениях. Я сказал, что выпил бы охотно стакан лимонаду, и он отвел меня к беседке, в которой сидела старая рабыня. Евнух велел принести мне отменного питья и не позволил дать старухе серебряную монету. После мы погуляли у пруда, но евнух сказал, что нам следует вернуться, и указал на трех дам, которых приличия предписывали избегать. Я поблагодарил его, попросив передать от меня поклон Исмаилу, и затем вернулся к себе, довольный прогулкой и в надежде впредь быть удачливее.

Сразу на следующий же день получил я от Исмаила записку с приглашением назавтра вечером отправиться ловить с ним рыбу на крючок; ловля наша при лунном свете должна была продолжаться далеко за полночь. Надо ли говорить, что я надеялся увидеть желания свои исполненными! Я вообразил, что Исмаилу ничего не стоит свести меня с венецианкой; уверенность, что он будет третьим, не отвращала меня. Я испросил у кавалера Венье дозволения ночевать вне стен дворца, и он согласился, хоть и не без труда, ибо опасался какой-нибудь неприятности из-за моего волокитства. Я мог бы успокоить его, обо всем рассказав, но мне представлялось, что здесь подобает хранить молчание.

Итак, в назначенный час я был у турка, встретившего меня самыми сердечными изъявлениями дружбы. К моему удивлению, в лодке мы оказались с ним вдвоем, не считая двух гребцов и рулевого. Мы поймали нескольких рыб и отправились их есть, зажаренных и приправленных маслом, в беседку; луна сияла, и ночь казалась ослепительней дня. Зная его пристрастия, я был не столь весел, как обыкновенно; хоть и успокаивал меня господин де Бонваль, однако я боялся, как бы не явилась Исмаилу прихоть выказать мне свою дружбу тем же способом, каким он пытался это сделать три недели назад. Прогулка вдвоем была мне подозрительна и не казалась естественной. Я не мог унять беспокойства. Но вот какова оказалась развязка.

— Тише, — сказал он вдруг. — Я слышу некий шум;

насколько я могу судить, сейчас мы позабавимся.

С этими словами он отослал своих людей и, взяв меня за руку, произнес:

— Идем, спрячемся в одну беседку — ключ от нее, по счастью, у меня в кармане; но осторожней, шуметь нельзя. Одним из окон беседка эта выходит на пруд, куда, полагаю, отправились теперь купаться две-три моих девицы. Мы их увидим, они же и мысли не могут допустить, что за ними смотрят: нам предстоит насладиться чудеснейшим зрелищем. Они знают, что никому, кроме меня, не попасть в это место.

Сказав так, он отпирает беседку, по-прежнему держа меня за руку, и вот мы в полной темноте. Перед нами во всю ширь простирается освещенный луною пруд, каковой, будучи в тени, был бы для нас невидим; и прямо перед нашим взором три обнаженные девушки то плавают, то выходят из воды по мраморным ступеням и, стоя либо сидя на них, вытираются, являя прелести свои во всех положениях. Обольстительное зрелище это тотчас же воспламенило меня, и Исмаил, обмирая от радости, убедил меня не стесняться, но, напротив, отдаться действию, которое сладостный вид оказал на мою душу, и сам подал мне в том пример. Я, как и он, вынужден был довольствоваться предметом, находящимся рядом, дабы погасить пламень, разжигаемый тремя сиренами; не глядя вовсе на наше окно, они, казалось, заводят свои сладострастные игры только для того, чтобы зрители, пристально за ними следящие, воспылали страстью. Исмаил, принужденный, находясь рядом, заменить собою предмет дальний, до которого не мог я дотянуться, торжествовал победу. В свой черед и он воздал мне по заслугам, и я стерпел. Воспротивившись, я поступил бы несправедливо и к тому же отплатил бы ему неблагодарностью, а к этому я не способен от природы. За всю свою жизнь не случалось мне впадать в подобное безрассудство и так терять голову. Не зная, которая из трех нимф была моя венецианка, я обнаруживал черты ее в каждой по очереди и не щадил Исмаила, который, по всей видимости, успокоился. Этот достойный человек приятнейшим образом изобличил меня во лжи и вкусил самой сладостной мести, но чтобы получить с меня долг, ему пришлось платить самому.

Оставляю читателю заботу сосчитать, кто из нас остался в проигрыше; но, думается мне, чаша весов должна склониться в сторону Исмаила, ибо он понес все расходы. Что до меня, то я более у него не бывал и о приключении своем никому не рассказывал. Три сирены удалились, оргия кончилась, и мы, не зная, что сказать друг другу, лишь посмеялись над нею.

Угостившись отменными вареньями разных сортов и выпив несколько чашек кофе, мы расстались. Единственный раз испытал я в Константинополе удовольствие подобного рода — и воображение участвовало в нем более, нежели реальность.

Несколькими днями позже я с раннего утра явился к Юсуфу; накрапывавший дождик не дал мне прогуляться в саду, и я направился в обеденную залу, где никогда не встречалось мне ни души. Вдруг при моем появлении поднимается с места очаровательная женская фигура и быстро набрасывает на лицо, опустив со лба, плотную вуаль. Рабыня, что сидит у окна спиной к нам и вышивает на пяльцах, не двигается со стула. Извинившись, я собираюсь удалиться, но женщина на чистом итальянском языке велит мне остаться и ангельским голосом говорит, что Юсуф, уходя, наказал ей занимать меня беседой. Указав на подушку, покоившуюся на других двух, побольше, она приглашает меня сесть; я повинуюсь, и она усаживается, скрестив ноги, на подушку прямо напротив меня. Я решил, что вижу перед собою Зельми и Юсуфу вздумалось мне доказать, что он не трусливей Исмаила. Удивившись этому поступку, которым он нарушал свои собственные правила, я, однако, полагал, что бояться мне нечего, ибо не мог сделать решительного шага, не увидав прежде ее лица.

— Полагаю, тебе неизвестно, кто я, — сказала маска.

— Не имею понятия.

— Уже пять лет, как я супруга твоего друга, а родилась я на Хиосе. Когда он взял меня в жены, мне было тринадцать лет.

Пораженный своеволием Юсуфа, позволившего мне вести беседы с его женой, я почувствовал себя непринужденнее и подумал было попытать счастья; но мне надобно было увидеть ее лицо. Когда видишь одно лишь прекрасное, скрытое одеждами тело, но не видишь головы, родятся только те желания, что нетрудно утолить; огонь, возжигаемый им, подобен костру из соломы. Передо мною был прекрасный, изящный идол, но я не видел души его, ибо глаза таились за газовым покрывалом. Я видел обнаженные руки, ослепительной белизны и формы, и кисти, подобные кистям волшебницы Альцины, dove ne nodo appar ne vena eccede*; я воображал себе все остальное, ту нежную поверхность, которую способны были скрыть мягкие складки муслина. Все это, несомненно, было прекрасно, но мне хотелось прочесть в ее глазах душу, оживлявшую все, что мне угодно было себе представить. Восточные одежды являют жадному взору все и более, ничего не скрывая, но, словно прекрасная глазурь на вазе саксонского фарфора, мешают распознать на ощупь, каковы краски цветов и фигур. Женщина эта была одета не как султанша: юбки открывали моему взгляду ноги до половины икры, и форму

ляжек, и очертания высоких бедер, которые, сужаясь, превращались в восхитительно тонкую талию, стянутую широким синим кушаком с вышитыми серебром арабесками. Мне открывалась высокая грудь, и медленное, зачастую прерывистое волнение волшебного этого холмика показывало, что он живой. Меж небольших грудей пролегал узкий, округлый желобок: мне чудилось, что молочный этот ручеек предназначен для того, чтобы я, впившись в него губами, утолил свою жажду.

Вне себя от восхищения, я движением почти непроизвольным протянул руку и, дерзкий, уже готов был откинуть ее вуаль, но она, выпрямившись во весь рост, оттолкнула меня и голосом столь же величественным, как и поза, стала упрекать за дерзостное вероломство.

— Разве достоин ты дружбы Юсуфа, — говорила она, — ты, оскорбляющий супругу его и законы гостеприимства?

— Сударыня, вы должны простить меня: у нас на родине самый низкий из мужчин может взирать на лицо королевы.

— Но не срывать вуаль, если ей случится надеть ее! Юсуф отомстит за меня.

Услыхав эту угрозу, я решил, что погиб, бросился к ее ногам и молил так, что красавица успокоилась, велела мне сесть обратно и уселась сама; она скрестила ноги, и на миг в беспорядочных складках юбки мелькнули прелести, которые, лицезрей я их минутой дольше, вконец лишили бы меня рассудка. Тут я осознал свою ошибку и раскаялся — но было поздно.

— Ты весь пылаешь, — произнесла она.

— Как же мне не пылать, — отвечал я, — когда ты меня сжигаешь.

Умудренный опытом, забыл я о ее лице и совсем уж было завладел ее рукой, как она сказала: «Вот и Юсуф». Он входит, мы поднимаемся, он благословляет меня, я благодарю, рабыня-вышивальщица удаляется, он выражает признательность жене, составившей мне добрую компанию, и тут же подает руку, чтобы препроводить ее в женские покои. В дверях она поднимает покрывало и, целуя супруга, как бы ненароком показывается мне в профиль.

Я провожал ее взором до последней комнаты. Вернувшись, Юсуф со смехом сказал, что супруга его пожелала с нами обедать.

— Я думал, что передо мной Зельми, — сказал я.

— Это будет слишком противоречить нашим обычаям и нравам. Теперешний мой поступок — безделица; но не могу даже и представить, чтобы честный человек отважился усадить собственную дочь напротив чужестранца.

— Полагаю, твоя жена красива. Она красивее Зельми?

— Красота дочери моей весела, в ней запечатлелась нежность. Красота Софии отмечена гордостью. Она будет счастлива, когда я умру. Тот, кто возьмет ее в жены, найдет ее девственной.

Рассказывая о моем приключении господину де Бонвалю, я преувеличил опасность, которой подвергался, когда хотел откинуть покрывало.

— Вовсе нет, — возразил тот. — Никакой опасности вы не подвергались; гречанка эта, решив посмеяться над вами, попросту разыграла трагикомическую сцену. Поверьте, она гневалась, что оказалась наедине с новичком. Вы разыграли с нею фарс на французский манер, а должны были действовать по-мужски. Что за нужда вам глазеть на ее нос? Надо было добиваться главного. Будь я моложе, может статься, сумел бы отомстить за нее и наказать моего друга Юсуфа. Глядя на вас, она составила об итальянцах нелестное мнение. У самой скромной из турчанок стыд не простирается далее лица: стоит закрыть его, и она уже уверена, что краснеть не с чего. Уверен, эта красавица закрывает лицо всякий раз, как Юсуфу приходит охота с ней побаловаться.

— Она девственна.

— Весьма сомнительно, я знаю хиосских женщин; они, однако, чрезвычайно искусно и без труда изображают невинность.

В другой раз Юсуф уже не догадался оказать мне подобную любезность. Несколько дней спустя мы повстречались с ним в лавке одного армянина; когда он вошел, я как раз присматривался к разным товарам, но, сочтя цену слишком высокой, решился уже ничего не покупать. Юсуф, взглянув на товары, представлявшиеся мне дорогими, похвалил мой вкус, но сказал, что цена отнюдь не высока, и, купив все это, удалился. Назавтра он с раннего утра отослал все мне в подарок; а чтобы я не мог отказаться, написал чудесное письмо, утверждая, что по прибытии на Корфу я узнаю, кому должен передать присланное. То были дамасские ткани с золотым и серебряным глянцем, кошели, бумажники, пояса, перевязи, носовые платки и трубки — все вместе обошлось в четыре или пять сотен пиастров. Я стал благодарить его, и он сознался, что сделал мне подарок.

Накануне отъезда прощался я с честным стариком и увидал на глазах его слезы; я сам плакал в ответ. Он сказал, что, отказавшись принять его дар, я снискал такое его уважение, которое не могло бы стать глубже, если б я этот дар принял. Взойдя на корабль вместе с господином балио Джованни Доной, я обнаружил подаренный Юсуфом ларь. В нем заключалось две сотни фунтов кофе мока, сто ливров конопляного табаку в листьях и еще два больших сосуда, полных отменного табака

разных видов. Сверх того — жасминный кальян с золотой филигранью, который я продал на Корфу за сто цехинов. Я немедленно написал ему письмо с Корфу, где, продав его подарки, обрел целое состояние.

Исмаил снабдил меня письмом к кавалеру да Лецце, которое я потерял, и бочкой меду, которую я также продал, а господин де Бонваль — письмом к кардиналу Аквавиве, которое я переслал в Рим, вложив в свое собственное, где описал кардиналу свое путешествие; его высокопреосвященство, однако, ответом меня не удостоил. Еще господин де Бонваль дал мне дюжину бутылок мальвазии из Рагузы и другую дюжину — настоящего вина со Скополо: оно большая редкость. На Корфу я поднес его в подарок с немалой пользой для себя, как читатель увидит позже.

Единственным чужеземным посланником, с которым я нередко встречался в Константинополе, был милорд Кит, маршал Шотландии, представлявший там прусского короля. Ко мне он выказывал исключительное благорасположение; знакомство это спустя шесть лет сослужило мне службу в Париже. Мы еще поговорим о нем.

Мы пустились в путь в начале сентября на том же военном корабле, на каком приплыли. В две недели прибыли мы на Корфу. Господин балио не пожелал сойти на берег. Он вез с собой восьмерку превосходных турецких лошадей; двух из них я видел живыми в Гориции еще в 1773 году.

Едва успев сойти на берег и довольно скверно устроиться, я отправился к господину Андреа Дольфину, генерал-проведитору; он, как и прежде, объявил, что после первого же смотра произведет меня в лейтенанты. Выйдя от генерала, направился я к господину Кампорезе, моему капитану; штабные офицеры моего полка все были в отлучке.

Третий свой визит нанес я господину Д.Р., командующему галеасами, — ему рекомендовал меня господин Дольфин, когда мы вместе прибыли на Корфу. Он немедля спросил, не желаю ли я поступить к нему на службу в адъютантском чине, и я, ни минуты не раздумывая, отвечал, что большего счастья мне и не надобно и он во всякое время может рассчитывать на полное мое повиновение и готовность исполнять его приказы. Он сразу же велел проводить меня в отведенную мне комнату, и уже назавтра я у него расположился. Капитан отдал мне французского солдата, который прежде был цирюльником, — к большому моему удовольствию, ибо мне надобно было привыкать к французскому наречию. Солдат этот, пикардийский крестьянин, был повеса, пьяница и распутник и едва умел писать, но это меня не тревожило: довольно и того, что он умел говорить. Дуралей знал

великое множество уличных песенок и забавных историй и всех ими веселил.

Продав в течение четырех-пяти дней все полученные в Константинополе дары, я выручил почти пятьсот цехинов. Себе я оставил одно лишь вино. Вернув из лап жидов все то, что, проигравши, заложил перед отъездом в Константинополь, и все это также продав, я твердо решил не играть более как простофиля, а использовать все преимущества, какие разумный и смышленый молодой человек может позволить себе, не опасаясь прослыть жуликом.

Но сейчас пришло время описать читателю Корфу и дать понятие о тамошней жизни. О местных достопримечательностях рассказывать не стану: всякий может познакомиться с ними сам.

В то время верховная власть на Корфу принадлежала генерал-проведитору, жившему там в ослепительной роскоши. Господин Дольфин был мужчиной лет семидесяти, суровым упрямцем и невеждой; потеряв интерес к женщинам, он, однако, любил, чтобы они во всем ему угождали. Всякий вечер собиралось у него общество, и ужины он задавал на двадцать четыре персоны.

Кроме него на Корфу было трое высших офицеров гребного, иначе говоря, галерного флота и трое других, линейного флота — так называют парусные корабли. Гребной флот важнее парусного. На каждой галере был свой капитан, всего их было десять; на каждом паруснике также имелся командир, и их тоже было десять, включая трех высших офицеров. Все командиры эти были венецианскими дворянами. Еще десять благородных венецианцев от двадцати до двадцати пяти лет проходили на кораблях службу и изучали на острове морское ремесло. Находились на Корфу еще восемь или десять других венецианских дворян, которые должны были содержать полицию и отправлять правосудие: их называли «высшие сухопутные чины». Люди женатые имели удовольствие — если жены их были недурны собой — принимать в своем доме воздыхателей, ищущих их благосклонности; но сильных страстей на Корфу не встречалось: в то время здесь было множество куртизанок, и азартные игры были разрешены повсюду, а значит, любовная канитель не могла быть популярна.

Красотой и обходительностью среди прочих дам выделялась госпожа Ф. Муж ее, командир галеры, прибыл вместе с ней на Корфу в прошлом году. К удивлению всех высших морских чинов, она, зная, что в ее власти выбирать, отдала предпочтение господину Д.Р. и отослала всех, кто предлагал себя в чичисбеи. Господин Ф. женился на ней в тот день, когда отплыл из Венеции на своей галере; то есть в тот же день, когда она вышла из монастыря, где находилась с семилетнего возраста. Ныне ей

минуло семнадцать. В первый день моего пребывания у господина Д.Р. я увидал ее за столом и был поражен. Мне почудилось, что я вижу нечто сверхъестественное: настолько превосходила она всех виденных мною прежде женщин, что я не боялся даже влюбиться. Я ощутил себя существом иной, нежели она, породы и столь низким, что никогда не сумел бы до нее дотянуться. Поначалу я решил, что между нею и господином Д.Р. нет ничего, кроме холодной дружбы, и господин Ф. прав, не питая ревности. (Впрочем, этот господин был глуп необычайно.) Вот каково было впечатление, которое произвела на меня эта красавица, представ в первый день моему взору; однако оно не замедлило перемениться, притом весьма неожиданным для меня образом.

Адъютантский чин даровал мне честь обедать с нею — но и только. Другой адъютант, товарищ мой, тоже прапорщик, но отменный дурак, пользовался той же честью; однако за столом нас не считали равными остальным. Никто не разговаривал с нами; на нас даже не глядели!

Я не мог с этим смириться: хоть и знал, что причиной тому не сознательное пренебрежение, но все же находил такое положение весьма тягостным. Мне представлялось, что Сандзонио (так звали моего соседа) не на что жаловаться, ибо он законченный олух; но чтобы так же обращались со мной — это было нестерпимо. Прошло восемь-десять дней, и госпожа Ф., ни разу не удостоившая меня взглядом, перестала мне нравиться. Я был задет, сердит — тем более что не мог предполагать в ее невнимании обдуманного намерения, умысел с ее стороны был бы мне скорее приятен. Я убедился, что ровно ничего для нее не значу, и это было уже слишком. Я знал, что кое-чего стою, и намеревался довести это до ее сведения. Наконец представился случай, когда она была вынуждена заговорить со мною, а для того — взглянуть мне в лицо.

Господин Д.Р., приметив прекрасного жареного индюка, который стоял передо мною, велел мне разрезать его, и я тотчас принялся за дело. Разрезав индюка на шестнадцать кусков, я понял, что исполнил работу дурно и нуждаюсь в снисхождении; однако госпожа Ф. не сдержала смеха и, взглянув на меня, заметила, что если я не был уверен в своем умении, то нечего было и браться. Не зная, что отвечать, я покраснел, уселся на место и возненавидел ее.

Однажды потребовалось ей в разговоре мое имя: она спросила, как меня зовут, хотя жил я у господина Д.Р. уже две недели и ей подобало это знать; сверх того, я неизменно бывал удачлив в игре и стал уже знаменит. Деньги свои я отдал плац-майору Мароли, записному картежнику, который держал банк в

кофейном доме. Войдя с ним в долю, я состоял при нем крупье — и он при мне, когда я метал, а случалось это нередко, ибо понтеры его не любили. Карты он держал так, что нагонял на всех страху, я же поступал прямо наоборот; мне всегда везло, и к тому же проигрывал я легко и со смехом, а выигрывал с убитою миной. Мароли и выиграл все деньги мои перед отъездом в Константинополь; по возвращении, увидев, что я решился более не играть, он счел меня достойным приобщиться мудрых правил, без которых гибнет всякий любитель карточных игр. Впрочем, я не полагался всецело на честность Мароли и держался настороже. Каждую ночь, закончив игру, мы сверяли подсчеты, но ларец оставался у казначея: разделив поровну выигранные наличные, мы отправлялись по домам опорожнять свои кошельки.

Я был удачлив в игре, здоров и любим товарищами, которым при случае всегда давал взаймы; и был бы вполне доволен своей участью, когда бы меня чуть более замечали за столом у господина Д.Р. и чуть менее надменно обходилась бы со мной его дама, которой, казалось, нравилось по временам унижать меня без всякой на то причины. Я ненавидел ее и, размышляя над внушенным ею чувством, находил, что она мало того что несносна, но и глупа, и ведь стоило ей захотеть, она завладела бы моим сердцем, даже не утруждаясь любовью ко мне. Ничего я не желал, как только чтобы она перестала меня вынуждать ее ненавидеть.

Я не мог отнести странности ее поведения ни на счет кокетства (ибо никогда ничем не показывал, что отдаю ей должное), ни на счет любовной страсти к кому-либо, кто внушил бы ей отвращение ко мне: даже господин Д.Р. не занимал ее внимания, а с мужем своим она обходилась как с пустым местом. Иными словами, эта юная женщина сделала меня несчастным; я злился на себя, полагая, что именно переполнявшая меня ненависть заставляет меня о ней думать. А обнаружив в душе своей способность ненавидеть, я вознегодовал на себя: никогда прежде не подозревал я за собою жестоких наклонностей.

— Куда вы употребляете деньги? — вдруг спросила она однажды, когда кто-то отдавал мне после обеда проигранную под честное слово сумму.

— Храню их, сударыня, на случай будущих проигрышей, — отвечал я.

— Но если вы ни на что их не тратите, вам лучше не играть: вы только попусту теряете время.

— Время, отданное развлечению, нельзя назвать попусту истраченным. Есть лишь одно дурное провождение времени — скука. От скуки молодой человек рискует влюбиться и навлечь на

себя презрение.

— Быть может; однако, развлекаясь ролью казначея собственных денег, вы обнаруживаете скупость, а скупец не почтенней влюбленного. Отчего вы не купите себе перчатки?

Насмешники дружно разразились смехом, а я остался в дураках. Она была права. Долгом адъютанта было провожать даму, отправляющуюся домой, до портшеза или экипажа, и на Корфу вошло в моду подсаживать ее, левой рукой приподнимая подол платья, а правой поддерживая под мышку. Без перчаток можно было потной рукой запачкать платье. Упрек в скупости пронзил мое сердце — я был убит. Утешаться, приписав ее слова недостатку воспитания, я не мог. В отместку я, не став покупать перчаток, решил всеми силами избегать ее, предоставив любезничать с нею пошляку Сандзонио с его гнилыми зубами, белобрысым париком, смуглой кожей и непрестанным сопением. Так я и жил, несчастный, в бешенстве, не умея избавиться от ненависти к этой юной особе, которую не мог и равнодушно презирать, ибо, остынув, не видел за нею никакой вины. Все было просто: она не ненавидела меня и не любила, а из свойственного юности желания посмеяться остановила выбор свой на мне, словно на какой-нибудь кукле. Мог ли я смириться с подобной участью? Я жаждал наказать ее, заставить каяться, измышлял жесточайшие способы мести. В их числе — влюбить ее в себя, а после обойтись как с потаскухой; однако обдумывая этот способ, я всякий раз с негодованием отбрасывал его: мне вряд ли достало бы отваги устоять перед силой ее прелестей и тем более — перед ее приветливостью. Но благодаря одной счастливой случайности положение мое совершенно переменилось.

Тотчас после обеда господин Д.Р. отослал меня с письмами к господину де Кондульмеру, капитану галеасов. Я должен был ждать его распоряжений и прождал до полуночи, а потому, вернувшись и обнаружив, что господин Д.Р. уже удалился к себе, отправился спать и сам. Наутро, когда он проснулся, я вошел к нему в комнату доложить об исполненном поручении. Минутой позже входит камердинер и вручает ему записку со словами, что адъютант госпожи Ф. ожидает у дверей ответа. Он выходит, господин Д.Р. распечатывает и читает письмо, а прочтя, рвет его и в запальчивости швыряет на пол; после, пошагав по комнате, наконец пишет ответ, запечатывает его, звонит, веля впустить адъютанта, и вручает ему письмо. Затем с выражением полнейшего спокойствия дочитывает известия от капитана галеасов и велит мне переписать какое-то письмо.

Он как раз читал его, когда снова вошел камердинер и сказал, что госпожа Ф. желает со мной поговорить. Господин Д.Р.

ответил, что больше я ему не нужен, и разрешил отправиться к госпоже Ф. и узнать, чего она хочет.

Я удаляюсь, а он на прощание предупреждает, что мне следует помалкивать, хоть мне и не было нужды в его предупреждениях. Не в силах угадать, для чего зовет меня эта красавица, я лечу к ней. Мне случалось бывать там и прежде, но по ее просьбе — никогда. Ждать пришлось не долее минуты. Я вхожу и с удивлением вижу, что она сидит в постели, раскрасневшаяся, пленительная, но с опухшими и покрасневшими глазами: она, бесспорно, плакала. Сердце мое бешено заколотилось, сам не знаю отчего.

— Садитесь сюда, в это креслице, — сказала она, — мне надобно с вами поговорить.

— Я недостоин подобной милости, сударыня, и выслушаю вас стоя.

Она не настаивала, памятуя, быть может, что прежде никогда не была со мной столь любезна и ни разу не принимала в постели. Собравшись с духом, она продолжала:

— Муж мой проиграл вчера вечером в кофейне двести цехинов под честное слово; он полагал, что деньги у меня и сегодня он их заплатит, но я распорядилась ими, а значит, должна их для него найти. Я подумала: не могли бы вы сказать Мароли, что получили от мужа его проигрыш? Вот кольцо, возьмите, а первого января я отдам вам двести дукатов и вы мне его вернете. Сейчас напишу и расписку.

— Что до расписки — пусть, но я отнюдь не желаю лишать вас кольца, сударыня. И еще скажу вам, что господину Ф. надобно идти самому либо послать к держателю банка человека, а деньги я вам отсчитаю через десять минут, когда вернусь.

С этими словами я, не дожидаясь ответа, вышел, возвратился в дом господина Д.Р., положил в карман два свертка по сотне монет и отнес ей, а взамен сунул в карман расписку с обязательством уплатить деньги первого января.

Когда я повернулся, чтобы выйти, она, взглянув на меня, сказала — это доподлинные ее слова:

— Знай я, в какой степени вы расположены оказать мне услугу, полагаю, не решилась бы просить вас о подобном одолжении.

— Что ж, сударыня, на будущее знайте, что нет в мире мужчины, способного отказать вам в столь ничтожном одолжении, коль скоро вы сами об этом попросите.

— Слова ваши весьма лестны, но, надеюсь, больше мне за всю жизнь не случится попасть в столь скверное положение, чтобы пришлось испытывать их правдивость.

Я ушел, размышляя над ее тонким ответом. Она, против моего ожидания, не сказала, что я ошибаюсь: это повредило бы ее репутации. Она знала, что я находился в комнате господина Д.Р., когда адъютант принес ее записку, и, следовательно, мне было прекрасно известно, что она просила двести цехинов и получила отказ; но мне ничего не сказала. Боже! Как я был рад! Я все понял.

Я догадался, что она боялась уронить себя в моих глазах, и преисполнился обожания. Я убедился, что она не любит господина Д.Р., а он и подавно ее не любил; сердце мое наслаждалось этим открытием. В тот день я влюбился в нее без памяти и обрел надежду когда-нибудь завоевать ее сердце.

Едва оказавшись в своей комнате, я самыми черными чернилами замазал все, что написала госпожа Ф. в расписке, оставив лишь имя; затем запечатал письмо и отнес к нотариусу, с которого взял письменное обязательство хранить его и не выдавать никому, кроме госпожи Ф., по ее просьбе и в собственные руки. Вечером господин Ф. явился в мой банк, заплатил долг, сыграл на наличные и выиграл три-четыре дюжины цехинов.

Более всего в этой прелестной истории поразила меня неизменная взаимная любезность господина Д.Р. и госпожи Ф., а также то, что, когда мы снова повстречались с ним дома, он не спросил, чего хотела от меня его дама; ее же отношение ко мне с того случая совершенно переменилось. За столом, сидя напротив меня, она не упускала случая заговорить, и частенько вопросы ее понуждали меня с серьезным видом произносить всяческие забавные колкости. В те времена у меня был большой дар смешить, не смеясь самому, которому научился я у господина Малипьеро, первого моего наставника. «Если хочешь вызвать слезы, — говаривал он, — надобно плакать самому, но, желая насмешить, самому смеяться нельзя». Все поступки мои и слова в присутствии госпожи Ф. имели целью понравиться ей; но я ни разу не взглянул на нее без причины и не давал понять, что думаю лишь о том, как бы снискать ее расположение. Я хотел зародить в ней любопытство, желание самой угадать мою тайну. Мне надобно было действовать неспешно, а времени было предостаточно. Пока же я, к своей радости, наблюдал, как благодаря деньгам и примерному поведению обретаю общее уважение, на которое, беря в расчет мое положение и возраст, не мог и надеяться и которое не снискал бы никаким иным талантом.

Около середины ноября мой солдат-француз схватил воспаление легких. Я известил об этом капитана Кампорезе, и тот

немедля отправил его в госпиталь. На четвертый день капитан сказал, что ему оттуда не воротиться и его уже причастили; под вечер, когда сидел я у него дома, явился священник, поручавший душу солдатика Богу, и вручил капитану небольшой пакет, завещанный ему покойным перед самой агонией с условием, что передан он будет лишь после смерти. В нем лежала латунная печать с гербом в герцогской мантии, метрическое свидетельство и листок бумаги, на котором я (капитан не знал французского) прочел слова, написанные дрянным почерком и с множеством ошибок:

«Разумею, что бумага сия, писанная мною и с собственноручной моей подписью, должна быть вручена капитану моему, когда я умру окончательно и надлежащим образом; без того исповедник мой не сумеет найти ей никакого употребления, ибо доверена она ему лишь под священной тайной исповеди. Прошу капитана моего захоронить мое тело в склепе, откуда можно было бы его извлечь, буде пожелает того герцог, отец мой. А еще прошу отослать французскому посланнику в Венеции мое метрическое свидетельство, печать с родовым гербом и выправленное по полной форме свидетельство о смерти, для того чтобы он переслал его отцу моему, господину герцогу; принадлежащее мне право первородства переходит к брату моему, принцу. В подтверждение чего руку приложил — Франциск VI, Шарль Филипп Луи Фуко, принц де Ларошфуко».

В метрическом свидетельстве, выданном церковью святого Сульпиция, стояло то же имя; герцога-отца звали Франциск V, матерью была Габриель Дюплесси.

Закончив чтение, не мог я удержаться от громкого хохота, зная преотлично, что сыном Франциска V и Габриель Дюплесси был герцог Франсуа де Ларошфуко, рожденный в 1613 году, автор знаменитых «Максим». Однако ж дуралей капитан, полагая мои насмешки неуместными, поспешил немедля сообщить новость генерал-проведитору, и я направился в кофейный дом, нимало не сомневаясь, что его превосходительство посмеется над ним, а редкостное чудачество отменно насмешит весь Корфу. В Риме, у кардинала Аквавивы, я встречал аббата Лианкура, правнука Шарля, чья сестра Габриель Дюплесси была женой Франциска V: только было это в начале прошлого столетия. В канцелярии кардинала мне случилось переписывать одно дело, по которому аббат Лианкур должен был давать показания при мадридском дворе и где шла речь о роде Дюплесси. Впрочем, выдумка светлейшего показалась мне столь же диковинной, сколь и несуразной, ибо самому ему, раз дело раскрывалось лишь после смерти, не было от нее никакого проку.

Когда получасом позже я только начал распечатывать новую колоду, явился адъютант Сандзонио и серьезнейшим тоном сообщил важную новость. Пришел он от генерала и видел, как запыхавшийся Кампорезе передал его превосходительству печать и бумаги усопшего. Его превосходительство тогда же повелел похоронить принца в особенном склепе и со всеми почестями, подобающими столь высокородной особе. Спустя еще полчаса явился господин Минотто, адъютант генерал-проведитора, и передал, что его превосходительство желает говорить со мною. Закончив игру и отдав карты майору Мароли, я отправился к генералу. Я нашел его превосходительство за столом в обществе первых дам и трех-четырех высших офицеров; здесь же были госпожа Ф. и господин Д.Р.

— Вот оно как, — произнес старый генерал. — Слуга ваш был принц...

— Никогда бы не подумал, монсеньор, и даже теперь не верю.

— Как! Он умер, и находился в здравом рассудке. Вы видели герб его, метрическое свидетельство, собственноручное его письмо. Когда человек при смерти, ему не приходит охоты шутить.

— Когда ваше превосходительство полагает все это правдой, почтение велит мне молчать.

— Что же это, если не правда? Удивляюсь, как вы можете сомневаться.

— Могу, монсеньор, ибо осведомлен о роде Ларошфуко, равно как и о роде Дюплесси; к тому же я слишком хорошо знаком с означенным человеком. Сумасшедшим он не был, но чудаком и сумасбродом был. Я ни разу не видел, чтобы он писал, и сам он двадцать раз говорил мне, что никогда не учился грамоте.

— Письмо его доказывает обратное. На печати его герцогская мантия: вам, быть может, неизвестно, что господин де Ларошфуко — герцог и пэр Франции.

— Прошу меня простить, монсеньор, все это я знаю, и знаю больше того: Франциск VI был женат на девице де Вивонн.

— Вы ничего не знаете.

После этого мне оставалось лишь умолкнуть. Не без удовольствия приметил я, что все мужское общество пришло в восторг от обращенных ко мне убийственных слов: «Вы ничего не знаете». Один из офицеров сказал, что усопший был красив, с виду благороден, весьма умен и умел вести себя столь осмотрительно, что никому и в голову не приходило, кто он на самом деле. Одна из дам заверила, что, будь она знакома с ним, непременно сумела бы его разоблачить. Другой льстец объявил,

что покойный был всегда весел, никогда не хвастался перед своими товарищами и пел как ангел.

— Ему минуло двадцать пять лет, — сказала, глядя на меня, госпожа Сагредо, — вы должны были приметить в нем все эти достоинства, если верно, что он ими обладал.

— Могу лишь, сударыня, описать его таким, каким он мне представлялся. Всегда весел, частенько дурачился, кувыркаясь и распевая нескромные куплеты, и держал

в памяти поразительное множество простонародных сказок о колдовстве, чудесах, невероятных подвигах, противных здравому смыслу и потому смешных. Пороки же его таковы: он был пьяница, грязнуля, развратник, бранчливый и не совсем чистый на руку; но я терпел, оттого что он хорошо меня причесывал и еще потому, что хотел научиться говорить по-французски. Не раз он говорил, что родом из Пикардии, сын крестьянина и дезертир. Уверял, что не умеет писать, но, быть может, обманывал меня.

Пока я говорил, вдруг явился Кампорезе и объявил его превосходительству, что покойник еще дышит. Тут генерал, взглянув на меня, сказал, что когда бы тот сумел одолеть болезнь, он был бы весьма рад.

— Также и я, монсеньор; однако духовник этой ночью точно отправит его на тот свет.

— Зачем же, по-вашему, он станет это делать?

— Затем, чтобы не попасть на галеры, к которым приговорит его ваше превосходительство за нарушение тайны исповеди.

Раздался смех, старый генерал насупил брови. При разъезде гостей я провожал госпожу Ф., идущую впереди под руку с господином Д.Р. к карете, и она, оборотясь, велела подняться в карету и мне, так как накрапывал дождь. (Она впервые оказывала мне столь великую честь.)

— Я думаю то же, что и вы, — сказала она, — но вы донельзя рассердили генерала.

— Несчастье это неизбежно, сударыня: я не умею лукавить.

— Вы могли бы, — заметил господин Д.Р., — избавить генерала от славной шутки о том, как духовник отправит на тот свет принца.

— Я полагал позабавить его, как, я видел, позабавил ваше превосходительство и вас, сударыня. Того, кто умеет смешить, любят.

— Но тот, кто не умеет смеяться сам, не может его любить.

— Готов поспорить на сотню цехинов, что безумец этот поправится и, раз генерал на его стороне, начнет пожинать плоды своей выдумки. Не терпится мне взглянуть, как его будут почитать за принца, а он станет увиваться за госпожой Сагредо.

При имени этой дамы моя красавица, которая ее недолюбливала, расхохоталась как сумасшедшая; а господин Д.Р., выходя из кареты, пригласил меня в дом. У него было в обычае всякий раз, как они ужинали вместе у генерала, после ужина проводить полчаса у нее — наедине, ибо господин Ф. не показывался никогда. Стало быть, парочка эта впервые допускала к себе третьего; в восторге от подобного отличия, я не сомневался, что оно не останется без последствий. Я вынужден был скрывать свою радость, однако это не помешало мне придавать комический оборот и веселость всему разговору. Трио наше продолжалось четыре часа, и во дворец мы вернулись в два часа пополуночи. В ту ночь они впервые узнали, каков я есть. Госпожа Ф. сказала господину Д.Р., что никогда еще так не смеялась и не могла даже подозревать, что простые слова бывают столь смешными.

Ясно было одно: поскольку смеялась она всем моим речам, я обнаружил в ней бездну ума и за веселость ее влюбился, отправившись спать в убеждении, что впредь уже не сумею изображать перед ней равнодушного.

Когда наутро я проснулся, мой новый слуга сообщил, что бывшему покойнику лучше и госпитальный врач даже полагает его жизнь вне опасности. Зашел об этом разговор и за столом; я не промолвил ни слова. Еще через день светлейшему, по приказанию генерала, отвели чистое помещение и дали лакея; одели, принесли рубашек, а после того как генерал-проведитор по излишней милости нанес ему визит, примеру его последовали все высшие офицеры, не исключая и господина Д.Р., — в большой мере из любопытства. К нему отправилась госпожа Сагредо, а за нею и все дамы; одна лишь госпожа Ф. не пожелала свести с ним знакомство и сказала со смехом, что пойдет, лишь если я сделаю одолжение и представлю ее. Я просил уволить меня от этого.

Его величали «высочеством», он звал госпожу Сагредо «своей принцессой». Господин Д.Р. пробовал уговорить и меня нанести ему визит, но я отвечал, что высказался уже достаточно и не намерен теперь, набравшись храбрости либо низости, противоречить сам себе. Если бы у кого-нибудь нашелся французский альманах из тех, что содержат генеалогии всех именитых родов Франции, обман бы немедля раскрылся; но ни у кого его не случилось, даже у самого французского консула, болвана, кстати, первостатейного. Не прошло и недели после метаморфозы безумца, как он стал появляться в свете. Обедал и ужинал он у генерала, и каждый вечер бывал в обществе, но неизменно напивался допьяна и засыпал. Невзирая на это, его по-прежнему почитали за принца: во-первых, потому что он без

всякой опаски ожидал ответа, который генерал, писавший в Венецию, должен был получить на свое письмо; во-вторых, потому что требовал от епископата примерно наказать священника, нарушившего тайну исповеди и разгласившего его секрет. Священник уже сидел в тюрьме, и не во власти генерала было защитить его.

Все высшие офицеры приглашали самозванца на обед; один господин Д.Р. все не решался этого сделать, ибо госпожа Ф. без околичностей объявила, что в этом случае останется обедать дома. Я еще раньше почтительно известил его, что в тот день, когда ему угодно будет пригласить принца, не смогу у него быть.

Однажды, выйдя из старой крепости, повстречал я светлейшего на мосту, который ведет к эспланаде. Став передо мной, он с благородным негодованием упрекает меня в том, что я никак не зайду его проведать, и немало меня смешит. Посмеявшись, я отвечаю, что ему не мешало бы подумать, как унести ноги прежде, чем генерал получит ответ, узнает правду и учинит расправу, и вызываюсь помочь, сторговавшись с капитаном неаполитанского судна, чтобы тот спрятал его на борту. Вместо того чтобы принять мой дар, несчастный начинает осыпать меня бранью.

Безумец этот ухаживал за госпожой Сагредо, которая, гордясь, что французский принц признал ее превосходство над остальными дамами, обходилась с ним благосклонно. За обедом у господина Д.Р., где собралось большое общество, она спросила, отчего я советовал принцу бежать.

— Он сам поведал мне о том, дивясь упорству, с каким вы почитаете его за обманщика, — сказала она.

— Я дал ему этот совет, сударыня, ибо у меня доброе сердце и здравый рассудок.

— Стало быть, все мы, не исключая и генерала, дураки?

— Подобный вывод был бы несправедлив, сударыня. Если чье-то мнение противно мнению другого, это отнюдь не означает, что кто-то из двоих дурак. Быть может, через восемь-десять дней я сочту, что заблуждался, но оттого не стану полагать себя глупей других. Однако же для дамы столь умной, как вы, не составит труда различить в этом человеке принца или крестьянина по манерам его и образованности. Хорошо ли он танцует?

— Он не умеет сделать и шагу; но он презирает танцы и говорит, что не хотел им учиться.

— Учтив ли он за столом?

— Бесцеремонен: не желает, чтобы ему переменили тарелку; ест из общего блюда своей собственной ложкой; не умеет сдержать отрыжки; зевает и встает первым, когда ему

заблагорассудится. Ничего удивительного: он дурно воспитан.

— Но, несмотря на это, весьма обходителен — так мне кажется. Он чистоплотен?

— Отнюдь нет; но он еще не вполне обзавелся бельем.

— Говорят, он не пьет ни капли.

— Вы шутите; по два раза на дню встает из-за стола пьяным. Но здесь его нельзя не пожалеть: он не умеет пить так, чтобы вино не бросилось ему в голову. Ругается, как гусар, и мы смеемся — но он никогда ни на что не обижается.

— Он умен?

— У него необыкновенная память: всякий день он рассказывает нам новые истории.

— Говорит ли о семье?

— Часто вспоминает мать — он нежно ее любит. Она из рода Дюплесси.

— Но если она еще жива, ей должно быть сейчас лет сто пятьдесят — четырьмя годами более или менее.

— Что за нелепость!

— Именно так, сударыня. Она вышла замуж во времена Марии Медичи.

— Однако ж имя ее значится в метрическом свидетельстве; но вот печать его...

— Известно ли ему, что за герб у него на щите?

— Вы сомневаетесь?

— Думаю, он этого не знает.

Общество поднимается из-за стола. Минутой позже докладывают о приезде принца, он входит и госпожа Сагредо недолго думая говорит:

— Дорогой принц, Казанова убежден, что вы не знаете своего герба.

Услыхав эти слова, он с усмешкой подступает ко мне, называет трусом и тыльной стороной руки дает мне пощечину, сбивая с моей головы парик. Удивленный, я медленно направляюсь к двери, беру по пути шляпу и трость и, спускаясь по лестнице, слышу, как господин Д.Р. громким голосом велит выкинуть безумца в окно.

Выйдя из дома, я поджидаю его у эспланады, но вижу, как он появляется с черного хода, и бегу по улице в уверенности, что не разминусь с ним. Загнав в угол меж двумя стенами, я начинаю его лупить смертным боем: вырваться оттуда он не может, и ему ничего не остается, как вытащить шпагу — но ему это и в голову не приходит.

Я бросил его, окровавленного, распростертым на земле, пересек окружавшую толпу зевак и отправился в Спилеа, чтобы в

кофейном доме разбавить лимонадом без сахара горечь во рту. Не прошло и пяти минут, как вокруг меня столпились все молодые офицеры гарнизона и стали в один голос твердить, что мне нужно было убить его; наконец они мне надоели: я наказал его так, что если он не умер, то не по моей вине; а обнажи он шпагу, я убил бы его.

Получасом позже является адъютант генерала и от имени его превосходительства велит мне отправляться под арест на бастарду. Так зовется главная галера; арестанта здесь заковывают в ножные кандалы, словно каторжника. Я отвечаю, что расслышал его, и он удаляется. Я выхожу из кофейни, но вместо того чтобы направиться к эспланаде, сворачиваю в конце улицы налево и шагаю к берегу моря. Иду с четверть часа и вижу привязанной пустую лодку с веслами; сажусь, отвязываю ее и гребу к большой шестивесельной шлюпке. Достигнув ее, прошу капитана поднять парус и доставить меня на борт виднеющегося вдали большого рыбачьего судна, которое направляется к островку Видо; лодку свою я бросаю. Хорошо заплатив, поднимаюсь на судно и завожу с хозяином торг. Едва ударили мы по рукам, он ставит три паруса, свежий ветер наполняет их, и через два часа, по его словам, мы уже находимся в пятнадцати милях от Корфу.

Ветер внезапно стих, и я велел грести против течения. К полуночи все сказали, что не могут рыбачить без ветра и выбились из сил. Они предложили мне отдохнуть до рассвета, но я не хочу спать. Плачу какую-то безделицу и велю переправить меня на берег, не спрашивая, где мы находимся, чтобы не пробудить подозрений. Я знал одно: я в двадцати милях от Корфу и в таком месте, где никому не придет в голову меня искать.

В лунном свете виднелась лишь церквушка, прилегающая к дому, длинный, открытый с двух концов сарай, а за ним луг шагов в сто шириной и горы. До зари пробыл я в сарае, растянувшись на соломе, и, несмотря на холод, довольно сносно выспался. То было первое декабря, и, невзирая на теплый климат, я закоченел без плаща в своем легком мундире.

Заслышав колокольный звон, я направляюсь в церковь. Поп с длинной бородой, удивившись моему появлению, спрашивает по-гречески, ромео ли я, то есть грек ли; я отвечаю, что я фрагико, итальянец; не желая далее слушать, он поворачивается ко мне спиной, уходит в дом и запирает двери.

Я возвращаюсь к морю и вижу, как от тартаны, стоящей на якоре в сотне шагов от острова, отчаливает четырехвесельная лодка и, подплыв к берегу, оказывается как раз там, где я стою. Передо мной появляются обходительный на вид грек, женщина и мальчик лет десяти-двенадцати. Я спрашиваю грека, откуда он и

удачно ли было его путешествие; он отвечает по-итальянски, что плывет с женой и сыном с Кефалонии и направляется в Венецию; но прежде он хотел бы послушать мессу в церкви Пресвятой Девы в Казопо, чтобы узнать, жив ли его тесть и заплатит ли приданое его жены.

— Как же вы это узнаете?

— Узнаю от попа Дельдимопуло: он сообщит мне оракул Пресвятой Девы в точности.

Повесив голову, плетусь я за ним в церковь. Он говорит с попом и дает ему денег. Поп служит мессу, уходит в святая святых храма и, явившись оттуда четвертью часа позже, снова восходит на алтарь, оборачивается к нам, сосредоточивается, оправляет свою длинную бороду и возглашает десять-двенадцать слов оракула. Грек с Кефалонии — но на сей раз отнюдь не Одиссей — с довольным видом дает обманщику еще денег и уходит. Провожая его к лодке, я спрашиваю, доволен ли он оракулом.

— Очень. Теперь я знаю, что тесть мой жив и приданое он заплатит, если я оставлю у него сына. Он всегда был страстно к нему привязан, и я оставлю ему мальчика.

— Этот поп — ваш знакомец?

— Он не знает даже, как меня зовут.

— Хороши ли товары на вашем корабле?

— Изрядны. Пожалуйте ко мне на завтрак и увидите все сами.

— Не откажусь.

Я был в восторге от того, что на свете, оказывается, по-прежнему есть оракулы, и уверен, что пребудут они, пока не переведутся греческие попы. Мы с этим славным человеком отправились на борт его тартаны; он велел подать отличный завтрак. Из товаров он вез хлопок, ткани, виноград коринку, масла всякого рода и отменные вина. Еще у него были на продажу чулки, хлопковые колпаки, зонты и солдатские сухари, весьма мною любимые, ибо тогда было у меня тридцать зубов, и как нельзя более красивых. Из тридцати осталось у меня ныне лишь два; двадцать восемь, равно как множество иных орудий, меня покинули; но — dum vita superest, bene est *. Я купил всего понемногу, кроме хлопка, так как не знал, что с ним делать, и, не торгуясь, заплатил те тридцать пять-сорок цехинов, что он запрашивал. Тогда он подарил мне шесть бочонков великолепной паюсной икры.

Я стал хвалить одно вино с Занте, которое он называл «генероидами», и он отвечал, что если б я составил ему компанию до Венеции, он бы каждый день давал мне бутылку, даже и во все сорок дней поста. По-прежнему несколько суеверный, я усмотрел

в этом приглашении глас Божий и уже готов был принять его — по самой нелепой причине: только потому, что это странное решение явилось безо всякого размышления. Таков я был; но теперь, к несчастью, стал другим. Говорят, старость делает человека мудрым: не понимаю, как можно любить следствие, если причина его отвратительна.

Но в тот самый миг, когда я собрался было поймать его на слове, он предложил мне за десять цехинов отличное ружье, уверяя, что на Корфу всякий даст за него двенадцать. При слове «Корфу» я решил, что снова слышу глас Божий и он велит мне возвратиться на остров.

Я купил ружье, и доблестный мой кефалониец подарил мне еще прелестный турецкий ягдташ, набитый свинцом и порохом. Пожелав ему доброго пути, я взял свое ружье в великолепном чехле, сложил все покупки в мешок

и вернулся на берег в твердой решимости поместиться

у попа-жулика, чего бы это ни стоило. Выпитое вино придало мне духу, и я должен был добиться своего. В карманах у меня лежали четыре-пять сотен медных венецианских монет; несмотря на тяжесть, мне пришлось запастись ими: нетрудно было предположить, что на острове Казопо медь эта могла мне пригодиться.

Итак, сложив мешок свой под навес сарая, я с ружьем на плече направился к дому попа. Церковь была закрыта. Но теперь мне надобно дать читателям понятие о моем тогдашнем состоянии. Я пребывал в спокойном отчаянии. В кошельке у меня было три или четыре сотни цехинов, но я понимал, что вишу здесь на волоске и мне нельзя находиться здесь долго: скоро все узнают, где я, а поскольку осудили меня заочно, то и обойдутся со мной по заслугам. Я был бессилен принять решение: одного этого довольно, чтобы любое положение сделалось ужасным. Если бы я по своей воле возвратился на Корфу, меня бы сочли сумасшедшим: я неизбежно предстал бы мальчишкой либо трусом; а дезертировать вовсе мне не хватало духу. Не тысяча цехинов, оставленная мною у казначея в большой кофейне, не пожитки мои, довольно богатые, и не страх оказаться в нищете были главной причиной этой нравственной немощи — но госпожа Ф., которую я обожал и у которой до сих пор не поцеловал даже руки. Пребывая в подобном унынии, мне ничего не оставалось, как отдаться самым насущным нуждам; а в ту минуту самым насущным было отыскать кров и пищу.

Я громко стучусь к священнику. Он подходит к окну и, не дожидаясь, пока я скажу хоть слово, захлопывает его. Я стучусь снова, бранюсь, бешусь, никто не отвечает, и в гневе я разряжаю

ружье в голову барана, что щиплет травку в двадцати шагах от меня. Пастух кричит, поп мчится к окну с воплем «Держи вора!», и в тот же миг гремит набат. Бьют в три колокола сразу, и я, предполагая столпотворение и не ведая, каков будет его конец, перезаряжаю ружье.

Минут через восемь-десять я вижу, как с горы катится толпа крестьян с ружьями, либо с вилами, либо с длинными пиками. Я ухожу под навес, но не из страха, ибо не думаю, что люди эти будут убивать меня, одного, даже не выслушав.

Первыми подбежали десять-двенадцать юношей, держа ружья наперевес. Я швыряю им под ноги пригоршню медных монет, они в удивлении останавливаются, подбирают их, и я продолжаю кидать монеты другим прибывающим взводам; наконец денег у меня не остается, и ко мне больше никто не бежит. Все мужичье застыло в остолбенении, не понимая, что делать с молодым человеком, мирным на вид и разбрасывающим просто так свое добро.

Я не мог говорить, пока не замолкли оглушительные колокола; но пастух, поп и церковный сторож опередили меня — тем более что говорить я хотел по-итальянски. Все трое разом обратились к черни. Я уселся на свой мешок и сидел спокойно.

Один из крестьян, пожилой и разумный на вид, подходит ко мне и по-итальянски спрашивает, зачем я убил барана.

— Затем, чтобы заплатить за него и съесть.

— Но его святейшество волен запросить за него цехин.

— Вот ему цехин.

Поп берет деньги, удаляется, и ссоре конец. Крестьянин, что говорил со мною, рассказывает, что в войне 1716 года защищал Корфу. Похвалив его, я прошу найти для меня удобное жилище и хорошего слугу, который мог бы готовить мне еду. Он отвечает, что у меня будет целый дом и он сам станет стряпать, только надобно подняться в гору. Я соглашаюсь, мы поднимаемся, а за нами два дюжих парня несут мой мешок и барана. Я говорю этому человеку, что желал бы иметь у себя на военной службе две дюжины парней, таких, как эти двое; я стану платить им по двадцать монет в день, а ему, как поручику, по сорок. Он отвечает, что я в нем не ошибся и буду доволен своей гвардией.

Мы входим в весьма удобный дом; мне предоставляют первый этаж, три комнаты, кухню и длинную конюшню, которую я немедля превращаю в караульню.

Оставив меня, крестьянин отправился за всем, что мне было необходимо, прежде всего — искать женщину, которая сшила бы мне рубашек. В тот же день было у меня все: кровать, обстановка, добрый обед, кухонная утварь, двадцать четыре парня, каждый со

своим ружьем, и старая-престарая портниха с молоденькими девушками-подмастерьями, чтобы кроить и шить рубашки. После ужина пришел я в наилучшее расположение духа: вокруг меня собралось тридцать человек, которые обходились со мной как с государем и не могли понять, что понадобилось мне на их острове. Одно лишь мне не нравилось — девицы не понимали по-итальянски, а я слишком дурно знал по-гречески, чтобы питать надежду просветить их своими речами.

Наутро предстала передо мной моя гвардия под ружьем. Боже! Как я смеялся! Славные мои солдаты все как один были бравые парни; но рота солдат без мундиров и строя уморительна. Хуже стада баранов. Однако ж они научились отдавать честь ружьем и повиноваться приказам командиров. Я выставил трех часовых: одного у караульни, другого у своей комнаты и третьего у подножья горы, откуда видно было побережье. Он должен был предупредить, если появится на море вооруженный корабль. В первые два-три дня я полагал все это шуткой; но поняв, что, возможно, буду вынужден применить силу, защищаясь от другой силы, шутить перестал.

Щедрость обеспечила мне любовь всего острова. Кухарка, которая нашла мне белошвеек, надеялась, что в какую-нибудь из них я влюблюсь — но не во всех разом; я превзошел ее ожидания, и она позволяла мне насладиться всякой, что мне нравилась; в долгу я не оставался. Жизнь я вел воистину счастливую, ибо и стол у меня был не менее изысканный. Подавали мне упитанных барашков да бекасов, подобных которым пришлось мне отведать лишь двадцатью двумя годами позже, в Петербурге. Пил я только вино со Скополо и лучшие мускаты со всех островов архипелага. Единственным моим сотрапезником был поручик. Никогда не выходил я на прогулку без него и без двух своих бравых парней «паликари». Эти доблестные стражи шли за мной для защиты от нескольких сердитых юношей, воображавших, будто из-за меня их оставили возлюбленные белошвейки. Я рассудил, что без денег мне пришлось бы худо; но без денег я, быть может, и не отважился бы бежать с Корфу.

Прошла неделя, и вот однажды за ужином, часа за три до полуночи, послышался голос часового: «Кто идет?» Поручик мой выходит и, вернувшись через минуту, сообщает, что некий добрый человек, говорящий по-итальянски, хочет поведать мне нечто важное. Я велю ввести его, и в присутствии поручика он, к изумлению моему, произносит с печальным видом такие слова:

— Послезавтра, в воскресенье, святейший поп Дельдимопуло возгласит вам катарамонахию. Если вы не помешаете этому, долгая лихорадка в полтора месяца сведет вас в мир иной.

— Никогда не слыхал о таком снадобье.

— Это не снадобье. Это анафема, проклятие, оглашенное со святыми дарами в руках; такова его сила.

— Что за нужда у священника убивать меня подобным образом?

— Вы нарушаете мир и порядок в его приходе. Вы завладели множеством девушек, и бывшие возлюбленные не желают брать их в жены.

Велев поднести ему вина и поблагодарив, я пожелал ему доброй ночи. Дело представилось мне серьезным: я не верил ни в какие катарамонахии, но нимало не сомневался в силе ядов. Назавтра, в субботу, не сказавшись поручику, я на заре отправился в церковь и, застав попа врасплох, произнес:

— При первом же приступе лихорадки, какой со мною случится, я размозжу вам голову. Стало быть, выбирайте: либо проклятие ваше подействует в один день, либо пишите завещание. Прощайте.

Предупредив его таким образом, я возвратился в свой дворец. В понедельник с самого раннего утра он явился с визитом. У меня болела голова. Священник спросил, как мое здоровье, и я сказал ему об этом; немало меня насмешив, он пустился заверять, что виноват во всем тяжелый воздух острова Казопо.

После его посещения прошло три дня; я как раз собирался сесть за стол, но вдруг часовой на передней линии, которому видно было море, подает сигнал тревоги. Поручик выходит и, возвратившись четырьмя минутами позже, объявляет, что к острову причалила вооруженная фелюга и на берег спустился офицер. Поставив свое войско под ружье, я выхожу и вижу, как поднимается в гору, направляясь к моим квартирам, офицер в сопровождении крестьянина. Поля его шляпы опущены; он старательно раздвигает тростью кусты, мешающие движению. Офицер один — следовательно, мне нечего бояться; я вхожу в свою комнату и велю поручику отдать ему воинские почести и ввести в дом. Надев шпагу, я стоя поджидаю его.

Это все тот же адъютант Минотто, который передавал мне приказ отправляться на бастарду.

— Вы один, — говорю я, — и значит, пришли ко мне как друг. Позвольте обнять вас.

— Мне ничего не остается, как прийти по-дружески; для врага у меня недостало бы сил одержать победу. Но не сон ли все, что я вижу?

— Садитесь, отобедаем вместе. Стол будет хорош.

— С удовольствием. А после обеда вместе уедем отсюда.

— Уедете вы один, если пожелаете. Я же уеду, только если

буду уверен, что не попаду под арест и получу удовлетворение. Генерал должен отправить этого полоумного на галеры.

— Будьте благоразумны; лучше вам будет ехать со мной и по своей воле. Мне приказано препроводить вас силой, но сил у меня не хватит; довольно будет моего рапорта, и за вами пришлют столько людей, что вам придется сдаться.

— Никогда я не сдамся, дорогой друг; живым меня не взять.

— Но вы с ума сошли — ведь вы не правы. Вы ослушались приказа отправляться на бастарду. Только в этом ваша вина, ибо в остальном вы тысячу раз правы. Сам генерал так сказал.

— Стало быть, я должен был идти под арест?

— Без сомнения. Повиноваться — наш первый долг.

— Значит, на моем месте вы бы подчинились?

— Не могу знать; знаю только, что когда б не подчинился, то совершил бы проступок.

— Следовательно, если сейчас я сдамся, вина моя будет много больше и обойдутся со мной хуже, чем если б я не ослушался несправедливого приказа?

— Не думаю. Едем, и вы все узнаете.

— Вы хотите, чтоб я ехал, не зная своей участи? Не ожидайте чуда. Лучше будем обедать. Если уж я такой преступник, что ко мне применяют силу, я сдамся силе; виновней мне уже не быть, хоть и будет пролита кровь.

— Напротив, вина ваша возрастет. Будем обедать. Быть может, добрая еда придаст вам рассудительности.

К концу обеда до нас донесся шум. Поручик сказал, что к дому стекаются толпы крестьян, привлеченные слухом, будто фелюга пришла с Корфу только затем, чтобы увезти меня, и готовые действовать по моему приказанию. Я велел ему разубедить этих славных храбрецов и, выставив им бочонок кавалльского вина, отослать по домам.

Воодушевившись, они разрядили в воздух ружья. Адъютант, улыбаясь, сказал, что все это весьма мило, но если ему придется уехать на Корфу без меня, это, напротив, будет выглядеть ужасно, ибо он будет вынужден представить весьма подробный рапорт.

— Я поеду с вами, если вы дадите мне слово чести, что я сойду на Корфу как свободный человек.

— У меня приказ доставить вас к господину Фоскари на бастарду.

— На сей раз вы не исполните приказа.

— Для генерала дело чести — заставить вас повиноваться, и, поверьте, он найдет способ это сделать. Но скажите на милость, что вы станете делать, если генерал ради забавы решится оставить вас здесь?.. Однако здесь вас не оставят. Я представлю

рапорт, и дело решится без кровопролития.

— Нелегко будет это сделать, не учинив бойни. С пятью сотнями здешних крестьян мне не страшны и три тысячи человек.

– Найдут человека, одного, и обойдутся с вами как с главарем бунтовщиков. Все эти преданные вам люди не в силах защитить вас от одного-единственного, который за плату продырявит вам череп. Скажу больше. Из всех этих греков, что вас окружают, не найдется ни одного, кто бы не согласился убить вас и заработать двадцать цехинов. Поверьте мне, и едем со мной немедленно. На Корфу вас ожидает в некотором роде триумф. Вам станут рукоплескать, вас будут чествовать; вы расскажете сами, какое безумство совершили, и все посмеются, но в то же время и восхитятся тем, что немедля по приезде моем вы поддались на доводы здравого смысла. Все почитают вас. Господин Д.Р. проникся к вам великим уважением за мужество, поскольку вы не стали дырявить насквозь этого безумца, чтобы не оказаться непочтительным к хозяину дома. Да и сам генерал должен ценить вас, ибо вряд ли позабыл, что вы ему говорили.

— А какова судьба этого несчастного?

— Тому четыре дня, как фрегат майора Сордина привез депеши, и генерал, судя по всему, получил достаточные разъяснения, чтобы поступить так, как поступил. Безумец исчез. Никто не знает, что с ним сталось, и никто более не решается говорить о нем у генерала, потому что промах последнего слишком очевиден.

— Но бывал ли он еще в обществе после того, как я поколотил его тростью?

— Фи! Разве вы забыли, что он был при шпаге? Большего и не требовалось: никто не пожелал впредь его видеть. У него, как оказалось, было сломано предплечье и раздроблена челюсть; но уже через неделю его превосходительство изгнал жулика, невзирая на плачевное состояние. Единственно чему дивились на Корфу, так это вашему бегству. Три дня полагали, что господин Д.Р. укрывает вас у себя, и открыто порицали его, пока он наконец не объявил во всеуслышание за столом у генерала, что не знает, где вы находитесь. Сам генерал был весьма опечален вашим бегством вплоть до вчерашнего полудня, когда все открылось. Протопоп Булгари получил от здешнего попа письмо, в котором тот жалуется, что некий офицер-итальянец вот уже десять дней как завладел островом и чинит на нем насилие. Он обвиняет вас в том, что вы совратили здесь всех девиц и грозились убить его, если он возгласит вам анафему. Письмо это прочитано было в обществе, и генерал много смеялся, однако велел мне сегодня утром взять дюжину гренадеров и

отправляться за вами.

— Всему виною госпожа Сагредо.

— Верно; и она совсем убита. Нам с вами было бы недурно нанести ей завтра же утром визит.

— Завтра? Вы уверены, что я не окажусь под стражей?

— Да, уверен, ибо знаю, что его превосходительство — человек чести.

— Я тоже. Позвольте обнять вас. Мы отправимся отсюда вместе, когда минет полночь.

— Но отчего не раньше?

— Оттого, что иначе мне грозит опасность провести ночь на бастарде. Я хочу прибыть на Корфу при свете дня: тогда торжество ваше будет блистательно.

— Но что мы станем тут делать еще восемь часов?

— Прежде пойдем к девицам — на Корфу таких лакомых нет; а после славно поужинаем.

Я велел поручику своему распорядиться насчет еды для солдат, что находились на фелюге, и подать нам самый лучший и обильный ужин, так как в полночь я хочу ехать. Подарив ему все свои богатые припасы, я отослал на фелюгу все, что желал оставить себе. Двадцать четыре моих солдата, получив от меня вперед недельное жалованье, изъявили готовность сопровождать меня под командой поручика на фелюгу, отчего Минотто смеялся всю ночь до упаду. В восемь часов утра мы прибыли на Корфу и причалили прямо к бастарде, на которую и препроводил меня Минотто, заверив, что немедля отправит мои пожитки к господину Д.Р. и отправится с рапортом к генералу.

Господин Фоскари, который командовал галерой, встретил меня как нельзя хуже. Будь в его душе хоть немного благородства, он бы не стал с такой торопливостью сажать меня на цепь; стоило ему подождать всего лишь четверть часа и поговорить со мной — и я бы не подвергся подобному оскорблению. Не сказав мне ни единого слова, он отправил меня к начальнику гавани, тот велел мне садиться и протянуть ногу, чтобы заковать ее: в тех местах, впрочем, кандалы не считаются бесчестьем, к несчастью, даже на галерах для каторжников, которых уважают больше солдат.

Правая моя нога была уже в цепях, а с левой снимали башмак, готовясь заковать и ее, но тут к господину Фоскари явился адъютант от его превосходительства с приказанием вернуть мне шпагу и отпустить на свободу.

Я просил позволения изъявить свое почтение благородному губернатору острова, но адъютант сказал, что в этом нет нужды.

Я немедля отправился к генералу и, не говоря ни слова, отвесил ему глубокий поклон. Он с важным видом велел мне быть

впредь умнее и затвердить, что первейший долг мой на избранном поприще — повиноваться; а главное — быть благоразумным и скромным. Я понял смысл двух этих слов и сделал надлежащие выводы.

Явившись к господину Д.Р., обнаружил я радость на всех лицах. Приятные минуты всегда приносили мне вознаграждение за все, что случалось мне перенести дурного, — настолько, что начинал я любить и самую их причину. Невозможно почувствовать должным образом удовольствие, если не предварили его какие-либо тяготы, и величина удовольствия зависит от величины перенесенных тягот. Господин Д.Р. на радостях даже расцеловал меня. Подарив мне прелестное кольцо, он сказал, что я поступил совершенно правильно, не открыв никому, и в особенности ему самому, своего укрытия.

— Вы не поверите, как беспокоится о вас госпожа Ф., — продолжал он с видом достойным и искренним.

— Вы доставите ей немалое удовольствие, отправившись к ней теперь же.

С каким наслаждением выслушал я этот совет из его собственных уст! Однако слова «теперь же» огорчили меня: ночь я провел на фелюге и, как мне казалось, своим видом мог ее напугать. Но нужно было идти, объяснить ей причину моего вида и даже обратить его себе в заслугу.

Итак, я отправился к ней; она еще спала, но горничная проводила меня в ее покои и заверила, что госпожа вот-вот позвонит и будет счастлива узнать о моем приходе. В те полчаса, что я провел с этой девицей, она пересказала великое множество разговоров о моем поступке и бегстве. Все сказанное ею доставило мне лишь величайшее удовольствие, ибо, как я убедился, все без исключения одобряли мое поведение.

Горничная вошла к хозяйке и минутой позже позвала меня. Она раздвинула полог, и взору моему, казалось, предстала Аврора в россыпи роз, лилий и нарциссов. Прежде всего я сказал, что если бы не приказ господина Д.Р., я никогда не посмел бы предстать перед нею в подобном виде, и она отвечала, что господину Д.Р. известно, какой интерес питает она к моей особе, и сам он уважает меня не меньше.

— Не знаю, сударыня, чем заслужил я столь великое счастье; самое большее, о чем я мечтал, — это простое снисхождение.

— Все мы восхищались тем, что вы нашли в себе силы сдержаться и не проткнуть шпагой того безумца; его бы выкинули в окно, когда б он не спасся бегством.

— Не сомневайтесь, сударыня, если б не ваше присутствие, я убил бы его.

— Вы, вне сомнения, весьма любезны; однако нельзя поверить, будто в тот досадный миг вы подумали обо мне.

При этих словах я опустил глаза и отвернулся. Приметив кольцо и узнав, что подарил мне его господин Д.Р., она похвалила его и захотела услышать во всех подробностях, как я жил после своего бегства. Я рассказал ей все в точности, обойдя лишь такой предмет, как девицы: он бы ей наверняка не понравился, а мне — не сделал чести. В житейских отношениях всегда следует знать, где положить предел доверительности. Правда, о которой лучше бы умолчать, много обширнее, чем та благовидная правда, какую можно рассказать вслух.

Посмеявшись, госпожа Ф. сочла мое поведение совершенно удивительным и спросила, отважусь ли я повторить свой прелестный рассказ дословно генерал-проведитору. Я обещал ей сделать это, если сам генерал попросит меня, и она велела мне быть наготове.

— Мне хочется, чтобы он полюбил вас и стал главным вашим покровителем, который оградил бы вас от несправедливостей, — сказала она. — Доверьтесь мне.

Я отправился к майору Мароли осведомиться, как обстоят дела в нашем банке; приятно было узнать, что, едва я исчез, он исключил меня из доли. Я забрал принадлежавшие мне четыреста цехинов, оговорив, что смотря по обстоятельствам могу войти в долю снова.

Наконец, под вечер, принарядившись, отправился я за Минотто, чтобы вместе идти с визитом к госпоже Сагредо. Она пользовалась благосклонностью генерала и, исключая госпожу Ф., была самой красивой из тех венецианских дам, которые находились на Корфу. Меня она не ожидала увидеть, ибо была причиной происшествия, заставившего меня удрать, и полагала, что я на нее в обиде. Я поговорил с ней откровенно и разубедил ее. Она обошлась со мной как нельзя более учтиво и просила даже захаживать к ней иногда по вечерам. Я склонил голову, не приняв, но и не отвергнув приглашения. Как мог я идти к ней, зная, что госпожа Ф. ее не переносит! Помимо прочего, дама эта любила карты, но нравились ей лишь те партнеры, что проигрывали, позволяя выигрывать ей. Минотто в карты не играл, но заслужил ее расположение своей ролью Меркурия.

Вернувшись домой, я застал во дворце госпожу Ф. в одиночестве: господин Д.Р. был занят каким-то письмом. Она пригласила меня рассказать ей обо всем, что приключилось со мной в Константинополе, и я не раскаялся, что уступил. Моя встреча с женой Юсуфа увлекла ее беспредельно, а ночь, проведенная с Исмаилом, когда мы наблюдали за купанием его

любовниц, воспламенила ее настолько, что в ней, я видел это, проснулась страсть. Я старался говорить обиняками, но она то находила слова мои слишком туманными и требовала, чтобы я изъяснялся понятнее, то, когда я наконец объяснялся, выговаривала мне, что я выражаюсь чересчур ясно. Я нимало не сомневался, что подобным путем сумею вызвать в ее душе благосклонность. Тот, кто умеет зарождать желания, может быть легко принужден утолять их: такого-то вознаграждения я и жаждал, хотя пока различал его еще весьма смутно.

В конце рассказа о славном моем пребывании на Корфу следует еще упомянуть вот о чем. Случилось так, что господин Д.Р. пригласил к ужину большое общество, и мне, само собой, пришлось потрудиться, повествуя во всех подробностях обо всем, что случилось со мной после приказа отправляться под арест на бастарду, — командир ее, господин Фоскари, сидел со мной рядом. Рассказ мой всем понравился, и было решено, что генерал-проведитор должен также получить удовольствие и услышать его из моих уст. Я сказал, что на Казопо много сена, которого вовсе нет на Корфу, и господин Д.Р. посоветовал мне не упускать случая и отличиться, немедля известив об этом генерала, что я наутро и сделал. Его превосходительство велел срочно послать туда с каждой галеры достаточное число каторжников, чтобы скосить сено и перевезти на Корфу.

ЖИЗНЬ В ВЕНЕЦИИ

Казанова по всем правилам усиленно ухаживает за госпожой Ф., добивается почти всего, но тут некстати подхватывает гонорею и возвращается в Венецию.

То, что мне не суждено остаться на военной службе, предсказывала синьора Манцони, и когда я сказал ей о своем намерении уйти со службы, она смеялась до слез, а потом спросила, чем я намерен теперь заняться. Я рассказал о своем желании стать адвокатом. Она опять принялась хохотать и отвечала, что это уже поздно, хотя мне и было всего-то двадцать лет.

Через несколько дней, получив отставку и сто цехинов, я расстался с военным мундиром и вновь стал сам себе хозяином.

Нужно было позаботиться о том, чем зарабатывать себе на жизнь, и я было вновь избрал профессию карточного игрока, но фортуна не согласилась с этим решением: через восемь дней у меня не осталось ни гроша. Что было делать? Чтобы не умереть с голоду, я решился стать скрипачом. Поскольку у доктора Гоцци я получил достаточные навыки, чтобы пиликать в театральном оркестрике, синьор Гримани определил меня в свой «Театр святого Самюэля», где, зарабатывая по экю в день, я мог дожидаться лучших времен.

Получив приличное образование, наделенный умом и немалым запасом сведений в литературе и науках, а также благоприятными для успеха в обществе физическими качествами, я вдруг оказался служителем искусства.

В этом мире по праву восхищаются талантами и презирают посредственность. Я вынужден был служить в оркестре, где не только не приходилось ожидать уважения или внимания, но, напротив, терпеть насмешки от людей, знавших меня ранее как духовное лицо и офицера, принятого в лучшем обществе.

Я понимал все это. Однако то единственное, что не могло оставить меня безразличным, а именно презрение, нигде не проявлялось. Я был доволен своей независимостью и не ломал себе голову о будущем. Первый мой выбор не основывался на призвании, и я мог бы продвигаться на этом поприще лишь благодаря лицемерию. Даже кардинальская шапка не избавила бы меня от презрения к самому себе: ведь убежать от собственной совести невозможно. Военное же ремесло привлекательно своей славой, но во всем остальном — это самое худшее из всех занятий: постоянное отречение от самого себя и своих желаний и беспрекословное подчинение. Мне потребовалось бы терпение, на

какое я не считал себя способным, так как любая несправедливость возмущала меня, а всякое ярмо было непереносимо. Кроме того, я полагал, что чем бы человек ни занимался, он должен получать за это достаточно для удовлетворения своих надобностей, а скудное жалованье офицера никак не могло обеспечить мое существование, ибо, благодаря полученному мной образованию, потребности мои превышали нужды обыкновенного офицера.

Скрипкой можно было зарабатывать достаточно, чтобы быть независимым, а это я всегда считал основой счастья. Конечно, занятие мое нельзя было назвать блестящим, но все чувства, которые рождались во мне против меня самого, я трактовал как предрассудок, и в конце концов стал таким же, как и мои новые гнусные сотоварищи. После представления я отправлялся вместе с ними в кабачок, где мы напивались. Почти всегда мы шли оттуда провести ночь в дурном месте: если оно было уже занято, мы выгоняли гостей, а несчастных жертв разврата не только подвергали всяческим измывательствам, но и отбирали у них ту небольшую плату, которая определена им законом.

Часто мы проводили целые ночи, шатаясь по улицам и изощряясь в придумывании всевозможных бесчинств. Одна из любимых наших шуток состояла в том, что мы отвязывали гондолы горожан и отпускали их по каналам на волю волн, с наслаждением предвкушая те проклятия, которыми будут осыпать нас утром. Нередко мы будили в превеликой спешке повивальных бабок и умоляли их бежать к какой-нибудь матроне, которая и беременна-то вовсе не была; то же самое проделывали с лекарями, заставляя их мчаться полуодетыми к вельможам, не имевшим ни малейшей причины жаловаться на здоровье. Не обходили мы и священников: их мы направляли соборовать мужей, мирно почивавших под боком у своих жен.

Я ВХОЖУ В ДОМ СЕНАТОРА БРАГАДИНО

В апреле 1746 года синьор Джироламо Корнаро праздновал свою свадьбу с девицей из дома Соранцо. Я имел честь принимать в этом празднестве участие среди музыкантов множества оркестров, игравших три дня без перерыва во дворце Соранцо.

В последний день праздника за час до рассвета я возвращался домой совсем без сил и, спускаясь по лестнице, увидел, что какой-то садившийся в гондолу сенатор обронил письмо, когда вынимал из кармана платок. Я поспешил поднять письмо и возвратить владельцу. С благодарностями он взял его и, спросив, где я живу, непременно пожелал доставить меня к дому. Я сел рядом с ним, а через минуту он попросил меня встряхнуть ему левую руку, которую он будто бы вдруг перестал чувствовать.

Я принялся изо всех сил трясти руку, но он еле слышным голосом пробормотал, что отнимается вся левая сторона и он умирает.

Перепугавшись, я посветил на него фонарем и увидел перекошенный рот и помертвевшее лицо, то есть несомненные признаки апоплексического удара. Велев лодочнику остановиться, я выпрыгнул из гондолы и побежал в ближайшую кофейню, где мне показали дом лекаря.

Я поспешил к нему, и когда после громкого стука в двери мне отворили, почти силой заставил эскулапа следовать за мной в ожидавшую нас гондолу. Он сразу же пустил сенатору кровь. Я тем временем раздирал свою рубашку для компрессов и повязки.

Когда все было сделано, я велел гребцам налечь на весла, и мы тотчас поплыли к Санта-Марине. Разбуженные слуги перенесли сенатора в постель почти без признаков жизни.

Приняв на себя роль распорядителя, я велел бежать за лекарем, а последний, явившись, еще раз пустил кровь, чем и подтвердил правильность уже сделанного мною.

Я счел себя вправе остаться присматривать за больным и устроился возле его постели.

По прошествии часа явились двое патрициев, друзья страждущего. Оба были в отчаянии. Поскольку лодочники рассказали, что я все знаю, они стали расспрашивать меня, но не захотели выяснить, кто я таков; мне же показалось наилучшим хранить скромное молчание.

Больной оставался недвижим, и только дыхание показывало, что он еще жив. Ему делали примочки, а призванный неизвестно

зачем священник, казалось, лишь дожидался его смерти. По моему настоянию никого не принимали, и возле больного оставались только я и оба патриция. В полдень, не отходя от его постели, мы пообедали, сохраняя полнейшее молчание.

Вечером старший из патрициев сказал мне, что, если у меня есть дела, я могу идти, а они проведут ночь на матрасах в комнате больного. «Что касается меня, сударь, то я останусь вот на этом стуле возле постели, ибо, если уйду, больной непременно умрет». Такой ответ, как и следовало ожидать, поразил их, и они с удивлением переглянулись.

Из немногих слов, произнесенных за ужином, я узнал, что сенатором, другом этих господ, был сеньор Брагадино, весьма известный в Венеции как красноречием и талантами государственного мужа, так и любовными приключениями бурной своей молодости.

Теперь он вел жизнь умиротворенного философа среди утех приятельства, которые доставляли ему не отходившие от него в этот час друзья — оба люди честные и любезные, из семейств Дандоло и Барбаро. Сеньор Брагадино был человек ученый, большой шутник, имел приятную наружность и чрезвычайно мягкий характер. Он достиг уже пятидесятилетнего возраста.

Лекарь по имени Терро, взявшийся за лечение, почему-то вообразил, что для спасения надобно растирать грудь ртутью. На следующий день у больного началось сильнейшее головокружение, а лекарь объявил, что через сутки действие снадобья перейдет на другие части тела, которые нуждаются в оживлении посредством циркуляции жидкостей. К полуночи несчастный весь горел, как в предсмертной лихорадке. Приблизившись, я увидел угасающие глаза. Он еле дышал. Я послал разбудить обоих приятелей и заявил им, что если больного сейчас же не освободить от гибельной мази, он умрет. Тут же, не дожидаясь их ответа, я обнажил его грудь и снял повязку, после чего тщательно протер тело теплой водой. Через три минуты дыхание выровнялось, и больной впал в спокойный сон. Мы все трое пришли в полный восторг и отправились спать.

Лекарь явился с самого раннего утра и был очень доволен столь хорошим видом больного. Но когда синьор Дандоло объяснил ему причину такого улучшения, он с превеликим раздражением отвечал, что это смертельно опасно, и пожелал узнать, кто именно позволил отменить его предписание. Тогда сам сеньор Брагадино сказал:

— Человек, избавивший меня от удушливой ртути, понимает в медицине больше вас. — С этими словами он указал на меня.

Изгнанный лекарь разнес историю по всему городу; болезнь

все более и более уступала, и когда один из родственников сенатора выразил сомнение, стоило ли лечиться у театрального скрипача, сеньор Брагадино заставил его замолчать, сказав, что один музыкант может знать больше всех лекарей Венеции, а он обязан мне жизнью.

Сенатор и оба его друга внимали мне, как оракулу. Такое отношение придало мне смелости, и я стал рассуждать как знаток физических наук и цитировал авторов, которых никогда не читал.

Синьор Брагадино имел слабость к абстрактным наукам и однажды сказал мне, что для молодого человека я знаю слишком много и, следовательно, во мне должно быть какое-то сверхъестественное начало. Он попросил меня открыть ему истину.

Вот что значит случай и сила обстоятельств! Не желая оскорблять его тщеславия отрицанием, я решился сделать ему ложное и ни с чем не сообразное признание при обоих его друзьях: я заявил, будто с помощью цифр могу получать ответы на любые вопросы. Сеньор Брагадино сказал, что это, без сомнения, та самая «ключица Соломона» (или «ключ» алхимиков), которую невежественные люди называют каббалой.

— Ты обладаешь, — присовокупил он, — истинным сокровищем, и лишь от тебя самого зависит, как можно лучше им воспользоваться.

— Не знаю уж, — отвечал я, — как мне быть с моим даром, ибо ответы цифр иногда столь невнятны, что я почти решился никогда больше не прибегать к нему. Правда, только моя цифровая пирамида дала мне счастье узнать ваше превосходительство. На второй день свадьбы Соранцо я захотел узнать у своего оракула, не случится ли на балу какая-нибудь неприятная для меня встреча. Оракул ответил: «Уходи ровно в десять часов». Я исполнил это и встретил вас.

Слушатели мои словно окаменели. Потом синьор Дандоло попросил меня ответить на вопрос, суть которого известна ему одному.

— Весьма охотно, — сказал я, понимая, что придется платить за тот наглый обман, в который я столь опрометчиво ввязался.

Он написал вопрос, из которого я не понял ни единого слова, но мне не оставалось ничего другого, как придумать ответ, который для меня был нисколько не понятнее вопроса. Синьор Дандоло прочел его один, потом второй раз, все понял и безмерно удивился: «Это божественно! Неповторимо! Это истинный дар небес!» Его восторг не мог не передаться остальным, и они стали спрашивать меня о всевозможных предметах, какие только могли себе вообразить. Все мои ответы

казались им величайшим сокровищем.

Уверившись в возвышенности моей каббалистической науки, они решили использовать ее для познания настоящего и будущего. Мне же не составляло труда угадать нужное, ибо я давал лишь двусмысленные ответы, так что оракул мой по примеру дельфийского никогда не ошибался.

Я понял, насколько легко было древним жрецам обманывать невежественный мир. И всегда ловкие люди будут без труда дурачить людей простодушных.

С превеликой приятностью проводил я целые дни в обществе этих трех чудаков, почтенных как по своей честности и нравственным качествам, так и благодаря счастливым обстоятельствам рождения. Ненасытная страсть знать все больше и больше побуждала их запираться вместе со мной и проводить так по десять часов в день.

Вся Венеция ломала себе голову и не могла понять, что оказалось общего между этими почтенными мужами и мной, вкусившим всех наслаждений мира.

К началу лета сеньор Брагадино был уже почти здоров и мог появиться в Сенате. Вот что он сказал мне накануне первого своего выезда:

— Кто бы ты ни был, я обязан тебе жизнью. Те, кто хотели сделать из тебя священника, адвоката, солдата и, наконец, скрипача, всего лишь глупцы, не понявшие, с кем они имеют дело. Сам Бог велел твоему ангелу привести тебя в мои объятия. Я понял, кто ты. Если хочешь стать моим сыном, я буду считать тебя таковым до самой моей смерти. Комната твоя готова, вели перенести туда свои вещи. У тебя будет слуга, гондола в полном распоряжении, мой стол и десять цехинов каждый месяц. В твои года я получал от отца не больше. Ты можешь не заботиться о будущем. Развлекайся. И можешь положиться на меня как на советчика и друга, что бы с тобой ни случилось.

С изъявлениями благодарности бросился я перед ним на колени, уже величая его отцом. И он, заключая меня в объятия, назвал меня своим «дражайшим сыном».

Такова, любезный читатель, история моего счастливого преображения, благодаря которому я переменил низкое ремесло поденщика на положение вельможи.

Капризная Фортуна, осчастливившая меня неведомым для благоразумных людей способом, не смогла все-таки привить моей натуре умеренность и воздержание, которые прочно обеспечили бы мое будущее.

Достаточно богатый, одаренный от природы импозантной и приятной внешностью, отчаянный игрок, беззаботнейший из

мотов, любитель поговорить, никогда не грешивший скромностью и не занимавший решительности, постоянно волочившийся за хорошенькими женщинами, отбивая их у незадачливых соперников, я мог вызвать у окружающих одну лишь ненависть.

Месяца через три или четыре сеньор Брагадино преподал мне еще один урок, значительно более наглядный. Мой приятель Завойский познакомил меня с одним французом по имени Аббади, который добивался у правительства места инспектора всех сухопутных сил Республики. Назначение это зависело от сенатора, и я рекомендовал француза своему покровителю, который обещал оказать протекцию; однако случай помешал ему выполнить это обещание.

Поскольку мне были нужны сто цехинов, чтобы заплатить долги, я обратился к сеньору Брагадино с просьбой ссудить мне эти деньги.

— А почему бы, мой милый, не попросить об этой любезности господина Аббади?

— Я не решаюсь, отец.

— Решайся, полагаю, он охотно даст тебе в долг.

На следующий день я отправился к французу и, поговорив немного о незначительных предметах, обратился с просьбой оказать мне услугу. Он не в самых вежливых выражениях попросил извинить его, объясняя свой отказ тысячей банальностей, которые всегда оказываются порукой в тех случаях, когда не хотят исполнить просьбу. Во время разговора явился Завойский, и я, поклонившись ему, удалился, чтобы без промедления донести моему патрону о своем безуспешном демарше. Патрон ответил мне, что у француза просто не хватает ума.

Как раз в этот день Сенат должен был обсуждать декрет о его назначении. Я отправился по своим делам, вернее, развлечениям и, вернувшись только после полуночи, лег спать, не повидав своего благодетеля. На следующий день я пошел пожелать ему доброго утра и упомянул, что собираюсь поздравить новоиспеченного инспектора.

— Не обременяй себя, друг мой, Сенат уже отверг это предложение.

— Каким образом? Ведь Аббади еще три дня назад ни в чем не сомневался.

— Так оно и было, хотели решить в его пользу, но я почел необходимым выступить против и сказал, что принципы здравой политики не позволяют нам доверить столь важный пост иностранцу.

— Удивительно, ведь еще позавчера вы придерживались

иного мнения.

— Совершенно справедливо, но тогда я не знал этого человека. Вчера я понял, что у него не хватает ума для должности, на которую он претендует. Разве может здравомыслящий человек отказать тебе в ста цехинах?

Эта неосторожность стоила ему высокого положения и дохода в три тысячи экю. Тем же утром я встретил Аббади в обществе Завойского. Француз был вне себя от ярости, оно и понятно.

— Если бы вы предупредили меня, — сказал он, — что сто цехинов помогут смягчить сеньора Брагадино, я нашел бы способ добыть их.

— Будь у вас голова инспектора, об этом можно было легко догадаться.

Обида, о которой он твердил всем вокруг, оказалась для меня весьма полезной. С тех пор все, кто искал помощи моего благодетеля, обращались сначала ко мне.

Конечно, так было во все времена — покровительство министра приобретается через его фаворита, а иногда и просто камердинера. Вскоре после этого происшествия все мои долги оказались уплаченными.

Зимой я недели на две был увлечен одной юной и чрезвычайно красивой венецианкой, которую отец выставлял в качестве танцовщицы в театре. Рабство мое, возможно, продлилось бы и долее, но меня освободил Гименей. Для нее нашли мужа — французского танцовщика Бине, переделавшегося в Бинетти. (Эта синьора Бинетти обладала редчайшим и удивительным качеством почти не меняться, несмотря на течение лет. Даже самые разборчивые любовники всегда видели ее молодой. Последним из тех, кого она отправила на тот свет своими излишествами лет семь тому назад, оказался один поляк по имени Мошинский. Бинетти было тогда уже шестьдесят три года.)

Жизнь, которую я вел в Венеции, могла бы быть вполне счастливой, если бы я не злоупотреблял игрой в бассет.

В редутах это дозволялось лишь патрициям, и то без масок и в подобающем сословию одеянии. Но я все-таки играл, хотя у меня не было ни достаточной осторожности воздержаться, когда фортуна мне не благоприятствовала, ни умения остановиться после хорошего куша.

К концу осени мой друг Фабрис представил меня одному семейству, словно самой судьбой созданному для услаждения ума и сердца. Дело было в деревне. Мы забавлялись играми, влюблялись, изощрялись в придумывании всяческих шуток. Иногда дело кончалось кровью, но общий тон не позволял ни на

что обижаться; что бы ни случилось, смеялись всегда: приходилось обращать все в шутку, чтобы не прослыть тупицей. У нас разваливались кровати и появлялись привидения; девиц угощали конфетами, которые вызывали неудержимые «петарды». Забавы эти заходили иногда слишком далеко, но в нашей компании полагалось над всем смеяться. И я не отставал от других. Но однажды со мной сыграли гнусную шутку, вдохновившую меня на ответ, прискорбные последствия которого положили конец мании, обуревавшей все наше общество.

Часто отправлялись мы прогуляться около одной фермы в полулье от дороги, но можно было сократить путь наполовину, перейдя по узкой доске через глубокий и грязный ров. Я всегда предпочитал именно эту дорогу, несмотря на страх наших красавиц, которые дрожали от ужаса, хотя я неизменно шел впереди и подавал им руку. В один прекрасный день, переходя первым, на самой середине я вдруг почувствовал, что доска уходит из-под ног, и оказался во рву, по шею в зловонной грязи. Несмотря на охватившую меня ярость, я был вынужден присоединиться к общему напускному смеху, который, впрочем, длился не более минуты, поскольку шутка была отвратительной и все общество единодушно признало это. Позвали крестьян, которые с трудом вытащили меня, являвшего собой поистине жалкое зрелище. Расшитый золотом совершенно новый камзол, кружева, чулки — все было безнадежно испорчено. Впрочем, я смеялся громче других, хотя думал лишь о том, как бы отомстить самым жестоким способом. Чтобы распознать автора этой злой шутки, мне оставалось только подавить свои чувства и притвориться безразличным. Не было никаких сомнений в том, что доску подпилили. Поскольку в этот раз я приехал всего на двадцать четыре часа и ничего с собой не взял, мне одолжили камзол, рубашку и все остальное. На следующий день я возвратился в город, а вечером опять присоединился к веселой компании. Фабрис, который был рассержен не меньше моего, сказал, что изобретатель ловушки, наверное, чувствует себя виноватым и не решается признаться. Цехин, обещанный одной крестьянке за указ на шутника, открыл мне все. Она поведала, что это был некий молодой человек, и сказала мне имя. Его отыскали, и еще один цехин и мои угрозы заставили юношу признаться, что за это ему заплатил синьор Деметрио, грек, бакалейщик, мужчина лет сорока пяти — пятидесяти, приятный добродушный человек, которому я не сделал ничего плохого, за исключением, правда, того, что недавно отбил у него прелестную субреточку.

Довольный своим открытием, я ломал голову, стараясь

придумать какую-нибудь шутку. Но чтобы месть моя была полной и законченной, надлежало изобрести такую проделку, которая превзошла бы выдумку моего бакалейщика. Как назло, воображение не предлагало мне ничего подходящего. Из затруднения меня выручили похороны.

Вооружившись ножом, я отправился после полуночи на кладбище. Откопав мертвеца, которого только что похоронили, я отрезал, хоть и не без труда, руку по самое плечо; потом зарыл покойника и вернулся с рукой к себе комнату. На следующий день, после ужина со всей компанией, я удалился в свою комнату и, вооружившись рукой, пробрался к греку и спрятался у него под кроватью. Через четверть часа является мой шутник, раздевается, гасит свет и забирается в постель. Дождавшись, пока он начнет засыпать, я потихоньку стягиваю с него одеяло. Он смеется и говорит: «Кто бы там ни прятался, иди и оставь меня в покое». Сказав это, он натягивает одеяло обратно на себя.

Минут через пять я снова принялся за свое. Он удерживал одеяло, но я тянул с силой. Тогда, сев на постели, он попытался схватить меня, и тут я и подсунул ему руку трупа. Полагая, что уже держит противника, грек со смехом стал тянуть руку к себе, однако и я несколько секунд крепко держал руку, а потом внезапно отпустил. Бакалейщик опрокинулся навзничь, не издав ни единого звука.

Сыграв свою роль, я тихонько вышел и незаметно вернулся к себе в комнату.

Рано утром шум по всему дому заставил меня проснуться. Не понимая, что происходит, я встал, и встретившаяся мне хозяйка дома сказала, что шутка моя превышает всякую меру.

— Да что же я такого сделал?

— Синьор Деметрио умирает.

— Разве я его убил?

Она ничего не ответила и ушла. Я несколько испугался, но решил в любом случае оправдываться полным неведением. В комнате грека я увидел все наше общество; все с ужасом смотрели на меня. Я уверял в своей невиновности, но мне смеялись в лицо. Вызванные по случаю протоиерей и церковный староста не соглашались хоронить руку и говорили, что я совершил величайшее преступление.

— Вы удивляете меня, ваше преподобие, — возразил я протоиерею, — как можно верить необоснованным суждениям, которые позволяют себе на мой счет без каких-либо доказательств?

— Это вы, — заговорили разом все присутствующие, — только вы способны на подобную гнусность. Никто другой не

осмелился бы сделать это.

— Я обязан, — добавил протоиерей, — составить протокол.

— Если вы так этого хотите, предоставляю вам полную свободу действий. Но знайте, что меня ничто не испугает.

Сказав это, я вышел.

За обедом при виде моего спокойствия и равнодушия мне сказали, что греку пустили кровь и он может уже вращать глазами, но речь и твердость движений еще не возвратились. На следующий день он заговорил, однако уже после отъезда я узнал, что он сделался слабоумен и подвержен припадкам. В таком плачевном состоянии он и оставался до конца своих дней. Участь его огорчила меня, но я утешался тем, что не имел намерения причинить ему столько несчастий и к тому же шутка его могла стоить мне жизни.

В тот же день протоиерей решил предать руку земле и одновременно послал в канцелярию тревизанского епископа формальное обвинение против меня.

Мне надоели непрестанные укоры, и я возвратился в Венецию, а через пятнадцать дней получил предписание явиться в церковный суд. Я попросил синьора Барбаро осведомиться о причине вызова в это страшное учреждение. Меня удивило, что действуют так, словно есть доказательства осквернения мною могилы, хотя на самом деле могли быть одни лишь подозрения. Однако дело заключалось совсем не в этом. Синьор Барбаро узнал, что некая женщина жалуется на меня, требуя возмещения за насилие над ее дочерью. Она утверждала, будто я завлек ее дочь на канал Зуэкку и злоупотребил силой. В качестве доказательства она присовокупляла, что из-за грубого обращения, которым я добился своего, дочь ее не встает с постели.

Это было одно из тех дел, которые часто затевают, чтобы ввести в расходы и неприятности даже совершенно невиновного. В насилии я был нисколько не повинен, но зато, как справедливо указывалось, основательно отлупил девицу. Я написал оправдательный документ и просил синьора Барбаро передать его секретарю суда.

> «Объяснение.
>
> Настоящим заявляю, что в такой-то день, встретив указанную женщину с ее дочерью, я подошел к ним и предложил зайти в лимонадную лавку; девица не позволяла ласкать себя, и мать сказала мне: “Она еще нетронутая и правильно делает, что не дается без выгоды для себя”. — “Если это правда, я отдам за дебют шесть цехинов”. — “Можете удостовериться сами”.

Убедившись посредством осязания в том, что, возможно, так оно и есть, я велел ей привести дочь после полудня на Зуэкку. Предложение мое было принято с радостью, мать доставила мне свою девицу к Крестовому саду и, получив шесть цехинов, ушла. Однако как только я пожелал воспользоваться приобретенными правами, девица, наученная, как я полагаю, своей матерью, нашла способ помешать мне. Сначала эта уловка была не лишена приятности, но в конце концов я утомился и велел ей прекратить игру. Она мягко ответила, что если у меня нет силы, то это не ее вина. Раздраженный этими словами, я заставил ее принять такую позу, которая доказывала как раз обратное; но она высвободилась, да так, что я оказался не в состоянии что-нибудь предпринять.

Тогда я привел себя в порядок, взял оказавшуюся поблизости палку от метлы и преподал ей урок, чтобы извлечь хоть какую-нибудь выгоду из своих шести цехинов. Однако я не повредил ей ни рук и ни ног, поскольку старался наказывать ее только по задней части, где и должны находиться все знаки моего выговора. Вечером я заставил ее одеться, посадил в случайную лодку, на которой она благополучно возвратилась домой. Мать девицы получила шесть цехинов, сама она сохранила свою отвратительную девственность, а если я и виноват, то только в том, что поколотил бесчестную девку, воспитанную еще более подлой матерью».

Объяснение мое ничему не помогло, потому что судья знал девицу, и мать только смеялась над тем, как ловко обвела меня. На вызов в суд я не явился; должны были выдать приказ о моем аресте, но в том же суде появилась жалоба на осквернение могилы. Для меня было много лучше, что это второе дело не попало в Совет Десяти.

Хоть, в сущности, дело и являлось совершенным пустяком, но по церковным законам относилось к тяжелейшим преступлениям. Мне было приказано явиться в суд через двадцать четыре часа, и я сразу оказался бы под арестом. Сеньор Брагадино, не оставлявший меня добрыми советами, рекомендовал предупредить беду и скрыться. Слова его показались мне весьма

разумными, и, не теряя ни минуты, я занялся приготовлениями.

Никогда еще я не покидал Венецию с таким сожалением, как в этот раз, — у меня было несколько галантных интрижек самого приятного свойства, да и в игре фортуна мне благоприятствовала. Друзья уверяли меня, что не позднее года оба дела забудутся, поскольку в Венеции все устраивается, лишь бы прошло некоторое время.

Я уехал с наступлением ночи и уже на следующий день остановился в Вероне. Там я не задержался, рассчитывая через два дня достичь Милана. Я был холост, ни с кем не связан, отлично экипирован, имел полный набор драгоценностей и, хотя не мог представить рекомендательных писем, обладал туго набитым кошельком, и здоровье мое омрачалось единственным недостатком — мне было всего двадцать три года.

ЖИЗНЬ В ПАРМЕ

Я поехал в театр и познакомился там с несколькими корсиканскими офицерами, которые служили во Франции в Королевском итальянском полку, а также с одним молодым сицилианцем по имени Патерно, отменнейшим вертопрахом, какого только видел свет. Этот юноша был влюблен в актрису, которая потешалась над ним: он развлекал меня описаниями ее бесподобных качеств и рассказами о ее жестокосердии. Хоть она и принимала его в любое время, но каждый раз, когда он пытался добиться хоть какой-нибудь милости, немедленно отвергала. Ко всему этому, бесчисленными обедами и ужинами, без которых вообще не стала бы обращать на него внимания, она разоряла несчастного.

В конце концов ему удалось заинтриговать меня. Рассмотрев его предмет на сцене и найдя в нем некоторые достоинства, я решил завязать знакомство, и Патерно взял на себя удовольствие сопровождать меня.

Я встретил в ней легкость обхождения и, зная ее скудные средства, не сомневался, что пятнадцати или двадцати цехинов достаточно для овладения этой крепостью. Слушая такие мои рассуждения, Патерно лишь рассмеялся и заявил, что если я осмелюсь сделать ей такое предложение, она вообще откажет мне от дома. Он назвал мне офицеров, которых она не желает более видеть, чтобы наказать за подобные предложения. «Тем не менее, — добавил он, — мне бы хотелось, чтобы вы попробовали и потом откровенно рассказали мне, как обернулось дело». Я понял, что он смеется надо мной, но обещал исполнить его желание.

Придя к ней в ложу и воспользовавшись тем, что она восхищалась моими часами, я сказал, что стоит ей только захотеть, и она получит их.

— Благородные люди не делают подобных предложений честной девице.

— Другим я предлагаю не больше дуката, — ответил я и удалился.

Узнав от меня про этот разговор, Патерно подпрыгнул от удовольствия, а дней через семь или восемь объявил мне, что она описала ему всю сцену в точности и теперь полагает, что я не хожу к ней из боязни быть пойманным на слове. Я просил передать, что навещу ее еще раз, но не ради предложений, а чтобы показать мое пренебрежение такими авансами.

Повеса мой исполнил все без умолчаний, и раздосадованная актерка велела ему сказать, что я просто боюсь появиться у нее.

Решив доказать в тот же вечер свое презрение, я после второго акта, когда она уже закончила роль, явился к ней в ложу. Она отослала какого-то сидевшего там субъекта, якобы по спешной надобности и, после того как тщательно заперла дверь, с веселым видом уселась ко мне на колени и спросила, верно ли, что я так сильно ее презираю.

В подобном положении никогда не достает духу обидеть женщину, и вместо ответа я сразу же приступил к делу, не встретив даже такого сопротивления, которое служит для возбуждения аппетита. Но и здесь, по своему обыкновению, я поддался чувству, абсолютно неуместному, когда благородный человек имеет слабость вступать в отношения с женщинами подобного сорта, и оставил ей двадцать цехинов. Весьма довольные друг другом, мы вместе посмеялись над глупостью Патерно, который, очевидно, совсем не понимал, как оканчиваются обиды такого рода.

На следующий день, повстречав беднягу сицилианца, я сказал ему, что провел время с великой скукой и вообще не намереваюсь более ходить туда. На самом деле я не имел к тому желания, но более существенная причина, указанная мне самой природой ровно через три дня, вынудила меня сдержать данное слово.

Хоть и глубоко озабоченный своим постыдным положением, я не жаловался, ибо видел в этом несчастье справедливую кару за то, что польстился на новоявленную Лаису.

Я решил довериться господину де ла Э, который обедал у меня почти каждый день, не скрывая своей бедности. Этот умудренный годами и жизнью муж передал меня в руки искусного лекаря, бывшего к тому же еще и дантистом. Известные симптомы вынудили его принести меня в жертву богу Меркурию, и это средство из ртути не позволило мне выходить из комнаты в течение шести недель. Все это случилось зимой 1749 года.

Пока я избавлялся от одной скверной болезни, де ла Э заразил меня еще худшей, хоть я и не считал себя ей подверженным. Этот фламандец, оставлявший меня одного лишь на один час утром, чтобы, как он говорил, сходить помолиться, превратил меня в святошу! Несомненно, подобная перемена в моем рассудке была следствием ослабления организма из-за употребления ртути. Этот вредоносный металл притупил мой ум настолько, что все прежние убеждения казались мне ложными. Я решился вести совсем другой образ жизни.

Де ла Э говорил мне о рае и делах потустороннего мира с такой убежденностью, словно побывал там собственной персоной, и это даже не казалось мне смешным, настолько приучил он меня не доверяться рассудку.

В начале апреля месяца, совершенно излечившись от своего недуга и обретя прежнее здоровье, стал я каждый день посещать со своим благодетелем храмы и не пропускал ни единой службы. С ним же я проводил вечера в кофейне, где неизменно собиралось веселое общество офицеров. Среди них выделялся один провансалец, который развлекал компанию всяческими небылицами и рассказывал о своих подвигах на поле брани под знаменами разных держав, главным образом испанскими. Поскольку он был занятен, то в виде поощрения все делали вид, что верят ему. Заметив мой пристальный взгляд, он спросил, не были ли мы ранее знакомы.

— Черт возьми, сударь, еще бы не знакомы! Разве вы забыли, что мы вместе сражались при Арбелах?*

Слова мои были встречены общим смехом, но фанфарон, нимало не смутившись, с живостью ответил:

— Но что здесь смешного? Я и в самом деле был там, и кавалер мог меня видеть. Кажется, я даже припоминаю его.

Затем, обратившись уже ко мне, он назвал полк, в котором мы оба служили, и мы тут же расцеловались, выразив обоюдное удовольствие вновь встретиться в Парме.

После такой истинно комической шутки я удалился в сопровождении моего неразлучного попечителя.

На следующее утро мы с ним еще сидели за столом, когда в комнату вошел мой провансальский хвастун и, не снимая шляпы, заявил:

— Синьор Арбела, у меня к вам важное дело. Потрудитесь выйти со мной, а если вам страшно, можете взять кого хотите. Я всегда управлялся с полудюжиной противников.

Не отвечая на тираду ни слова, я встал, вынул пистолет и, прицеливаясь, сказал с твердостью:

— Никому не позволено беспокоить меня в моей комнате. Извольте выйти, или я прострелю вам голову.

Мой храбрец выдернул из ножен шпагу и предложил мне стрелять. В ту же минуту де ла Э бросился между нами и стал отчаянно стучать в пол. Явился хозяин и пригрозил офицеру, что позовет стражу, если тот сейчас же не уберется.

Офицер ушел, заявив, что я публично оскорбил его и он постарается получить сатисфакцию столь же публично.

Опасаясь, как бы дело не приняло дурной оборот, я стал рассуждать о средствах к исправлению положения. Однако нам недолго пришлось ломать голову — через полчаса явился офицер герцога Пармского с приказанием мне незамедлительно прибыть к конному караулу, где старший по гарнизону майор де Бертолан хочет говорить со мной.

Я попросил де ла Э сопровождать меня в качестве свидетеля, чтобы подтвердить как все сказанное мной в кофейне, так и произошедшее у меня в комнате.

У майора я застал нескольких офицеров. Среди них был и мой фанфарон.

Господин де Бертолан, человек неглупый, увидев меня, слегка улыбнулся, а затем с самым серьезным видом сказал:

— Сударь, поскольку вы публично обидели этого офицера, то обязаны дать ему публичную же сатисфакцию согласно его желанию. Как старший по гарнизону я вынужден требовать от вас этого, чтобы дело кончилось к всеобщему удовольствию.

— Господин майор, о сатисфакции не может быть

и речи, поскольку я ни в каком смысле не сказал ничего оскорбительного, а лишь заметил, что, кажется, видел его в битве при Арбелах, и сомневаться в этом у меня не было никаких оснований, тем более получив подтверждение от него самого.

— Но мне, — перебил меня офицер, — послышалось «Родела», а не «Арбелы», а все знают, что я был при Роделе. Вы же говорили об Арбелах с единственным намерением посмеяться надо мной, потому что эта битва произошла более двух тысяч лет назад, а сражение у Роделы в Африке относится к нашему времени, и я был там под командой герцога Монтемара.

— Прежде всего, сударь, вы не можете судить о моих намерениях. Я не оспариваю того, что вы были при Роделе, если вы так говорите. Но теперь дело меняется, и сатисфакции требую уже я, раз вы осмеливаетесь утверждать, что я не участвовал в Арбельском сражении. Герцог Монтемар там не командовал, но я был адъютантом при Парменионе*, меня ранили у него на глазах. Если вы желаете видеть шрам от этой раны, то я, к сожалению, не смогу удовлетворить вас, ибо тогдашнее мое тело уже не существует, а тому, в котором я живу теперь, лишь двадцать три года.

— Все это похоже на безумие, но в любом случае у меня есть свидетели, что вы посмеялись надо мной, и я требую сатисфакции.

— Равно как и я. Наши притязания являются по меньшей мере одинаково справедливыми, но мои даже основательнее — ведь ваши свидетели подтвердят, что вы говорили, будто видели меня при Роделе, а я, черт возьми, никак не мог быть там.

— Возможно, я ошибся.

— Это могло произойти и со мной.

Майор, еле сдерживавшийся, чтобы не рассмеяться, сказал:

— Я не вижу никаких оснований требовать сатисфакции, поскольку кавалер, так же как и вы, согласился, что мог

ошибиться.

— Но разве возможно, чтобы он участвовал в битве при Арбелах?

— Он оставляет вам право верить или не верить этому. А теперь, господа, позвольте просить вас, как истинно благородных людей, пожать друг другу руки.

Что мы и сделали с превеликим удовольствием.

На следующий день несколько смущенный провансалец явился пригласить меня к обеду, и я достойно принял его. Так закончилось это забавное происшествие, чему больше всех радовался господин де ла Э.